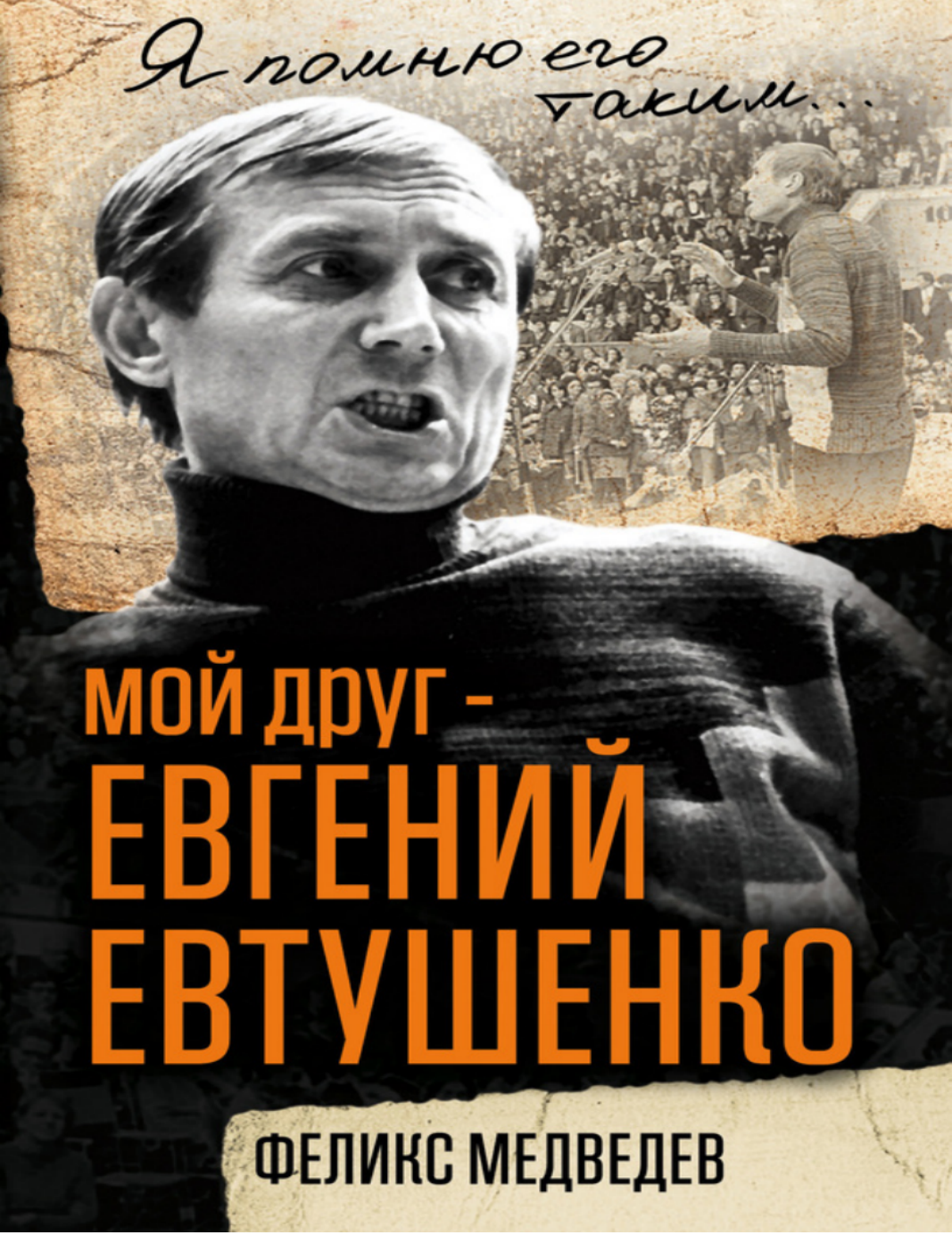
Я помню его таким...



МОЙ ДРУГ - ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

ФЕЛИКС МЕДВЕДЕВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя…
(Евгений Евтушенко)

1 апреля 2017 года умер Евгений Евтушенко, а вместе с ним умерла и эпоха поэзии, звучавшей с трибун стадионов. Шестидесятники – особое явление в нашей культуре, их объединяло не только искусство, но и безудержная любовь к жизни, экстравагантное поведение и бесшабашные, выходящие за рамки поступки. Их личная жизнь была даже ярче, чем жизнь общественная и культурная. Евгений Евтушенко стал символом и лицом эпохи. Современник и друг поэта на страницах этой книги рассказывает о творческих встречах и дружеских посиделках с Евгением Евтушенко, свидетелем и участником которых был сам.

- Феликс Медведев
  -
  - Отступать некуда
  - Хождение по минному полю
  - Неубитая юность поэтов
  - И были наши помыслы чисты…
    -
    - Андрей Вознесенский
      -
      - Андрей Вознесенский
      - Андрей Вознесенский
      - Андрей Вознесенский
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
      - Евгений Евтушенко
    - Булат Окуджава
      -
      - Булат Окуджава
      - Булат Окуджава
      - Последний троллейбус

- Роберт Рождественский
  -
  - Роберт Рождественский
  - «Я родился – нескладным и длинным…»
  - Отрывок из поэмы «Реквием»
  - Март 1963 года
- Белла Ахмадулина

○ Мне нравится, что жизнь всегда права
-
- Белла Ахмадулина
- «Я лишь объем, где обитает что-то…»
- Сон

○ Евгений Евтушенко
○ Феликс Медведев
○ Прощание с Андреем Вознесенским в Центральном доме литераторов 4 июня 2010 года
○ Ночной разговор с Евтушенко
○ «Я никого из них никогда не обидел…»
○ Евгений Евтушенко

Феликс Медведев
Мой друг – Евгений Евтушенко
Когда поэзия собирала стадионы…

© Медведев Ф. Н., 2017
© Богаль А.Ю., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Отступать некуда
Попытка постогоньковского «мемуара», или О том, что не вошло в мои интервью

– Коротич? А кто это?

– Ты не слышал, к нам назначают какого-то Коротича? С Украины.

– Угадай, кто сменит Софронова.

– Исаев?

– Нет!

– Панкин?

– Нет.

– Степанов?

– Нет.

– Севрук? Боровик?

– Нет.

– Ну короче, не тяни!

– Коротич!

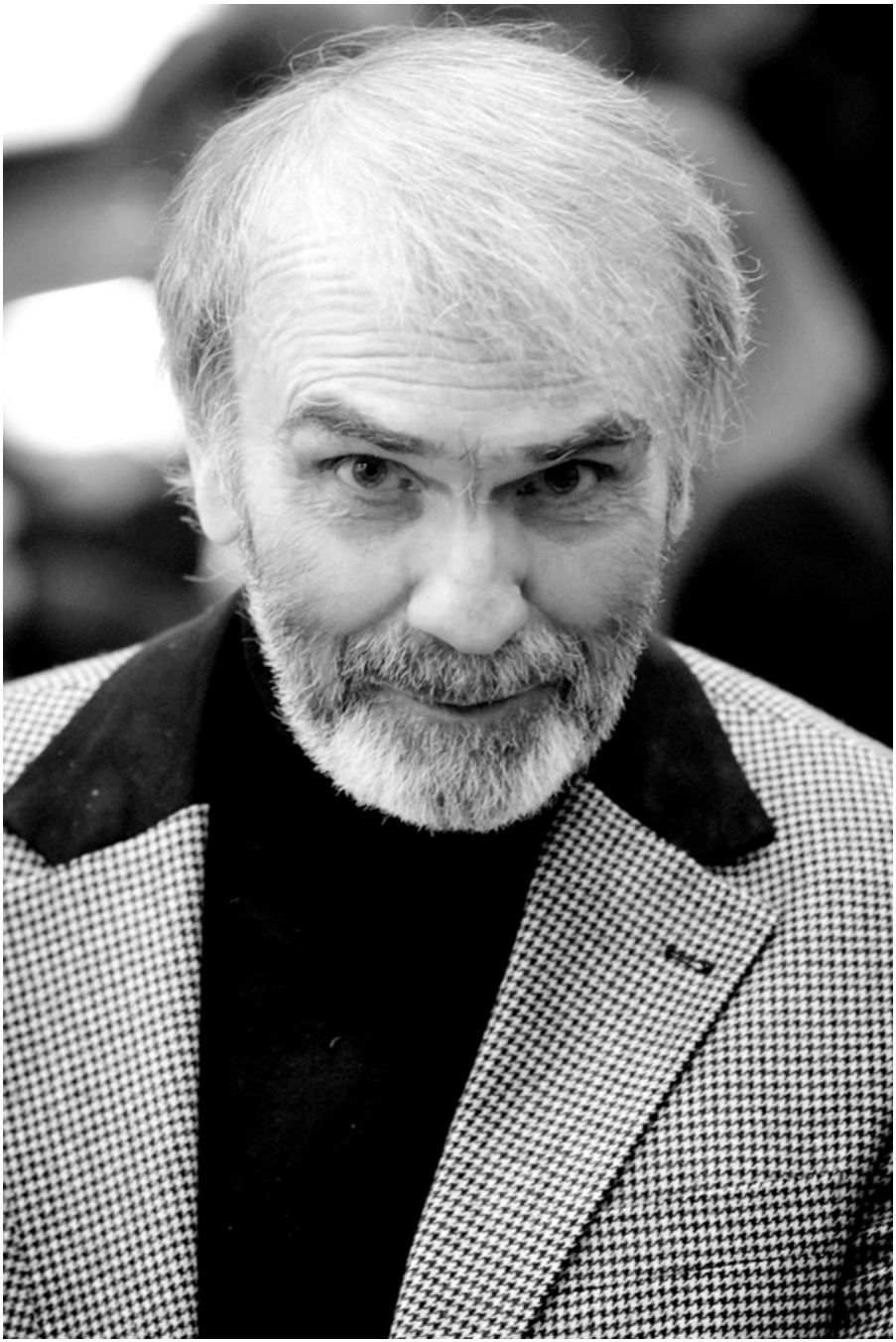
– Коротич?

Редакционные пересуды, слухи, молва. Прошло два месяца, как бывшего редактора проводили на пенсию, а нового все не назначали. И вдруг громом среди ясного неба: Коротич из Киева. Невероятно, но факт – эта фамилия была почти не знакома огоньковцам. А уж лично известного всей Украине литератора, редактора журнала «Всесвіт», среди нас не знал никто. Однажды на выступлении меня спросили, какая разница между работой в старом софроновском «Огоньке» и в журнале, который как бы родился заново после прихода в него Виталия Коротича? Каковы мои ощущения? Как можно чувствовать себя в ситуации напряженного внимания широких читательских кругов к «Огоньку»? Что такое для меня «глоток свободы»?

И я вспоминаю о работе в отделе литературы, которым руководил Владимир Енишерлов, ныне главный редактор «Нашего наследия». Работали мы вроде бы интересно. Делали интервью с известнейшими, уважаемыми писателями, публиковали материалы из литературного наследия Цветаевой, Ахматовой, Блока, выпускали украшенные цветными вкладками, насыщенные глубокими статьями номера, посвященные Пушкину, Гоголю, Чернышевскому, Лермонтову, Маяковскому. Нам охотно давали свои статьи Д. Лихачев, Л. Гумилев, другие видные

ученые, публицисты. Но как часто мы останавливали себя на том, что работа идет вхолостую, журнал, как мне казалось, просто мало читали. Я не помню случая, чтобы в Доме литераторов или в Доме журналистов кто-то сказал доброе слово о той или иной публикации «Огонька». Наши старания уходили в прорву, в жуткую пустоту. Интересовались журналом лишь сами авторы, их ближайшее окружение, любители детективных романов с продолжениями, «кроссвордисты», собиратели цветных иллюстраций. Дело казалось безнадежным, думалось, что репутацию «Огонька» ничто изменить не сможет.

Разве могли мы предположить, что не пройдет и года, как все, абсолютно все изменится и мало кому известный внутри коллектива Коротич превратит журнал в самую авторитетную общественную трибуну перестройки. Причем сделает это быстро – буквально за несколько месяцев. Правда, справедливости ради надо заметить, что пришел он отчасти на готовое. Впервые его фамилия появилась на титульном листе «Огонька» в начале июля 1986 года. А между мартом и июлем журнал успел напечатать принципиальные для поднятия его реноме вещи. Самой сенсационной среди них была первая после многих десятилетий глухого молчания публикация стихов Николая Степановича Гумилева и статьи о нем В. Енишерлова.



Феликс Николаевич Медведев – российский журналист и писатель

Апрель 85-го изменил многое, но перестройка в умах людей – это медленный, изнурительный процесс. Если просмотреть

подшивку «Огонька» начиная с апреля 1985 года до ухода А. Софронова из журнала, то поражаешься почти невероятному: на дворе революция, перерождение общества, а журнал не только не менялся, не замечал происходящего, но становился все консервативнее, все хуже и хуже. Последний раз фамилия Софронова, стоявшего у руля «Огонька» более тридцати лет, значится в 14-м номере за 1986 год. И вот сразу же, почти мгновенно после ухода человека, олицетворявшего застой и инерцию, «Огонек» совершил переворот в умах читателей, опубликовав стихи Гумилева. Это был конкретный акт духовной перестройки, акт настоящей гласности. Правда, и здесь все было не так просто. Отдел литературы не мог принять решение о публикации. Поэтому было составлено письмо-обращение общественности к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой разрешить журналу напечатать стихи Гумилева и издать в библиотеке «Огонька» книжечку его стихов. Первую подпись под письмом поставил Валентин Распутин. Специально за этим я летал к нему в Иркутск. Не за очерком, не за интервью, а за одной-единственной подписью под письмом государственного значения. Недешево обошелся бухгалтерии издательства «Правда» этот автограф. Я пробыл у Распутина десять минут. Ближайшим рейсом вернулся в Москву. Вслед за авторитетным писателем свои подписи поставили Д. Лихачев, И. Глазунов, С. Бондарчук, Е. Евтушенко, Е. Велихов, А. Петрянов-Соколов… Отказался поставить свою подпись Р. Рождественский, мотивируя тем, что он не участвует в подобного рода коллективных обращениях.

Конверт с письмом я отвез в ЦК КПСС и сдал его для передачи Генеральному секретарю. В ближайшем номере появились стихи Гумилева. Это была подлинная сенсация. Впервые за шестьдесят лет – открытая, наша советская, не тамошняя, большая публикация, посвященная поэту трагической судьбы. Номер журнала со стихами Гумилева мгновенно разлетелся в киосках «Союзпечати». Люди не верили своим глазам, они читали стихи запрещенного поэта.

Мы приободрились, почувствовали свободу, раскованность, обнадеженные поддержкой читателей. В ближайших номерах появились насыщенная остротой восприятия текущего литературного процесса и интересными материалами, связанными с творчеством Пастернака, Рубцова, Шкловского, декабристов, «Литературная панорама» и блистательный очерк Александра Басманова (первый за многие-многие годы во всей нашей печати) о трагической судьбе художницы Марии Башкирцевой с воспроизведением ее работ, и рассказ Ирвина Шоу «Вдовы», и статья молодого журналиста, который позднее

талантливо развернется в новом «Огоньке», Дмитрия Лиханова «Из жизни марионеток» о наркомании, и статья Э. Радзинского, и очерк Валентина Распутина «Кяхта», и репродукции Сомова, Григорьева, Головина, ранее не воспроизводившиеся в журнале. В дни 84-летия Вениамина Каверина я побывал у него в Переделкине, беседовал с ним, разговор получился раскованным, насыщенным размышлениями писателя о новом послеапрельском времени. Дал журналу Каверин и новые свои рассказы. Впервые за многие годы фамилия известнейшего советского писателя появилась на страницах «Огонька». Спустя неделю, когда новый редактор примет дела и его фамилия появится на обложке журнала, на редакционной летучке, услышав впервые мое имя, Виталий Алексеевич произнесет: «Это тот, что сделал для нас интервью с Кавериным?».

А я уже готовился к поездке в Красноярск для встречи с Виктором Петровичем Астафьевым. Мне давно хотелось с ним поговорить, я уважал его как писателя и как человека. По телефону договорились: встретимся в Москве на писательском съезде, который должен был вот-вот состояться. Я согласился с неохотой, мне хотелось побывать на его родине в селе Овсянка, что под Дивногорском, на Енисее. На съезде произошли события, отмеченные новой общественной ситуацией. Много было споров, дискуссий, смелых, решительных выступлений. Уже тогда начался процесс размежевания литературных сил, который позднее на страницах «Огонька» будет назван «гражданской войной» в литературе. Одним из инцидентов в работе съезда был протест грузинской делегации против публикации в журнале «Наш современник» рассказа Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», который, по мнению грузинских писателей, оскорблял их национальные чувства. Виктор Петрович был раздосадован этим инцидентом.

В Красноярск я прилетел спустя несколько часов после возвращения домой Виктора Петровича. Не успел он отдохнуть после изнурительной дороги, как я нагрянул к нему со своим диктофоном. Говорил он горячо, душевно, с болью. Обо всем. О литературе, о войне, о друге своем Василии Шукшине, о матери, о начавшихся изменениях в обществе. Раза два мы выходили на волю, прогуливались то по берегу Енисея, то по пахнущему мятой сосновому лесу. Я чувствовал, что разговор получается, что я тащу крупную щуку журналистской удачи. И не ошибся. Материал «Не могу быть добреньким (Печальные беседы с автором „Печального детектива“)» вызвал широкий общественный резонанс, обильную почту, его цитировали, перепечатывали.

С Виктором Петровичем я по-прежнему в добрых отношениях. Я по-прежнему благодарен ему за тот порыв к откровенному разговору, за честность, которую он проявил в беседе с корреспондентом «Огонька». В вышедшую недавно книгу «Зрячий посох», которую Виктор Петрович мне прислал в подарок, вложена открытка. В ней есть такие слова: «Я нарочно отобрал открытку с видом из окна моего кабинета, чтобы ты знал, что честная работа никем из порядочных людей не забывается…». Вид из окна астафьевского кабинета – это вид на Енисей, на вольный сибирский бор, на те места, где мы с ним прогуливались. И как бы с намеком он сделал надпись на титульном листе книги: «„Непамятливых памятью не мучай, а помнящим хоть час забвенья дай“. Алексей Прасолов (эпиграф утерян при издании книги)».

Виктор Петрович пишет о честной работе. Я сожалею (все мы крепки задним умом), что не спросил его о многом. О Солженицыне, например, об отношении к нему, к его книгам, к его возвращению на Родину. И завидую телевидению, которое впервые в нашей гласности устами Виктора Астафьева реабилитировало великого русского писателя. Живого великого…

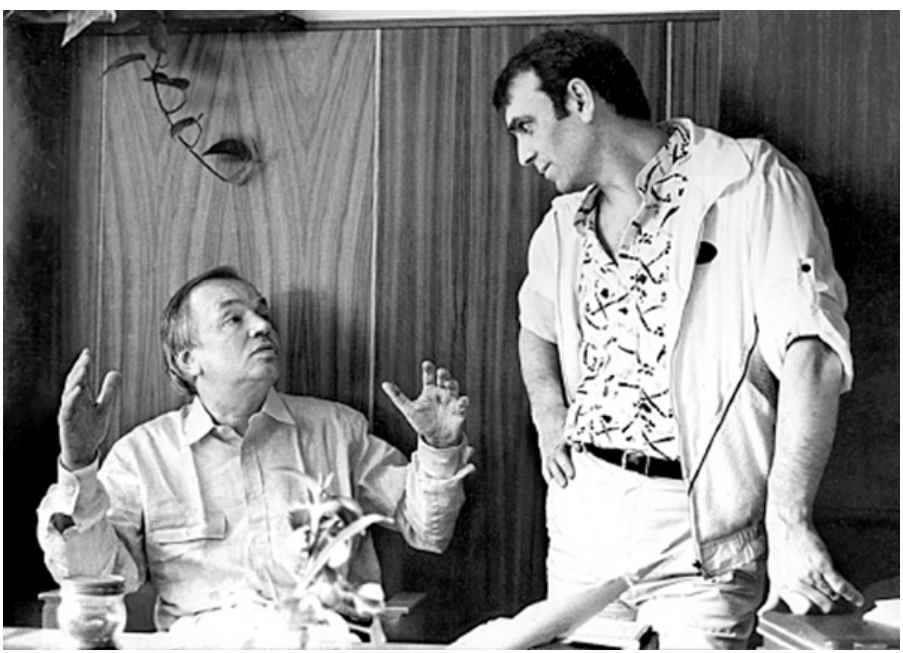
Я люблю своих героев, тех, с кем делаю очередное интервью. Я привязываюсь к ним, как к близким людям. Может быть, оттого, что вживаюсь в их судьбу, готовясь к встрече: читаю их книги, расспрашиваю о них знакомых, размышляю над их судьбами. А может быть, оттого, что люблю свое дело, свое ремесло – журналистику. Ох, как давно я решил для себя: буду журналистом. Еще учеником шестого класса. Что толкнуло тогда меня взять да написать в районку о лыжных гонках? Написал. Напечатали. Получил первый гонорар. Купил на него первую книгу для своей библиотеки. Было это в год смерти генералиссимуса. Помню, как плакал отец, сидя у допотопного радиоприемника. Помню только это, больше ничего из событий той поры. Да еще как по вечерам, сделав уроки (а может, еще и не сделав), строчил свои заметки. Входил во вкус. В моей библиотеке сохранилась книга В. Катаева «За власть Советов» с такой надписью: «За активное сотрудничество в районной газете „Новая жизнь“ юнкору газеты Феликсу Медведеву. 10 мая 1954 года. Редактор газеты Н. Иванова». С той поры более тысячи интервью взял я у своих героев. Тогда это были простые труженики, учителя, председатели колхозов, секретари райкомов. Иные из них до сих пор звонят мне, напоминая о той давней поре.

Как резануло меня заявление в газете «Советская культура» популярного сегодня тележурналиста из Эстонии Урмаса Отта, что после записи со своим собеседником он больше не общается с

ним, он его больше не интересует.

У меня все иначе: человек, у которого я взял интервью, становится как бы частью моей жизни, моей биографии. Какие-то отношения выливаются в дружбу, какие-то становятся предметом взаимного творческого интереса.

А как непросто порой выдерживать характер, натуру той или иной «звезды». Во время первой же встречи человек раскрывается, ты уже понимаешь, с кем имеешь дело: злой он или добрый, умный или глупый, заносчивый или доступный, простой. Несмотря на «рабочие» сложности, ты делаешь материал, и как приятно бывает потом слышать хорошие о нем слова. Не забуду, как после первого интервью с художником Ильей Глазуновым, опубликованного в «Огоньке», он, прочитав принесенный мною свежий номер журнала, воскликнул, обращаясь к жене: «Нина, почитай, первый раз интервью со мной прошло без моей правки. И получилось».



Феликс Медведев в редакции журнала «Огонек». 1970-е гг.

Илья Сергеевич в среде журналистов известен тем, что не просто вмешивается в материал, контролирует прохождение его, вычитывает, но и сам порой помогает корреспонденту написать его. И вообще с ним непросто иметь дело: избалованный славой, почестями, вниманием и почитанием, Илья Глазунов – тяжелый орешек для общения. Тем не менее с того первого интервью я

сохраняю с ним дружеские отношения и рад, когда в моей телефонной трубке раздается его голос: «Ты что-то совсем забыл Глазунова, зазнался…».

С Андреем Вознесенским я знаком с 1959 года, с того первого разговора, когда он, еще неизвестный, еще «бескнижный», руководил поэтическим семинаром на совещании во Владимире. В софроновском «Огоньке» Вознесенский не печатался, тот журнал был для него под запретом, как, впрочем, и для многих других замечательных писателей, поэтов, драматургов, но с приходом Коротича Андрей Вознесенский стал одним из желанных авторов. С радостью я готовил его публикации о Владиславе Ходасевиче, о Марке Шагале, о Борисе Гребенщикове, брал у него интервью для материала «И были наши помыслы чисты», наконец, редактировал его книжку для библиотеки «Огонька» «10, 9, 8, 7…». А если после 59-го я бы с ним не встретился? Думается, что многое бы потерял.

Одни из последних журналистских знакомств – встречи с Анной Михайловной Лариной-Бухариной, с Софьей Карловной Радек, с Гелианой Григорьевной Сокольниковой, дочерью Сокольникова и Галины Серебряковой. Эти встречи-интервью – на всю жизнь. Ведь в судьбах моих героев – трагедия их отцов, история советской власти, штрихи человеческих судеб XX века. Разве можно пройти мимо них по касательной?

После публикации беседы с вдовой Бухарина Анной Михайловной Лариной «Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил» по стране были зарегистрированы случаи выхода из партии. В знак протеста. Так категорично реагировали люди, которые жили еще в 37-м… Другие реагировали иначе. И об этом подробнее.

Вся страна ждала реабилитации невинно осужденных и погибших в сталинских лагерях. Народная молва, желание поскорее узнать о начале реабилитации торопили события. Говорили об июне 1988 года…

Я пришел к Анне Михайловне холодным ноябрем 1987 года. Мы проговорили много часов. Диктофон работал без устали. Но Анна Михайловна не верила, что поведанное ею можно будет обнародовать. Многих журналистов видывала она за последнюю четверть века. Дело же возвращения доброго имени ее мужу не сдвигалось. К ее письменным обращениям оставались глухи Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Она совсем уже опустила руки. Жила в бедности вместе с сыном Юрием и дочерью Надеждой в небольшой квартире на первом этаже в районе Профсоюзной улицы.

«Первая вдова страны», юная красавица, жена крупнейшего

партийного деятеля, восемнадцать лет проведшая в ссылках, тюрьмах и лагерях, дочь видного революционера, похороненного в Кремлевской стене, Михаила Ларина, талантливая мемуаристка, Анна Михайловна доживала свой век в скромнейшей обстановке коммунальной квартиры, в почти абсолютной общественной изоляции. Ее сторонились, ее боялись.

Мне часто говорят: наверное, вызывали в ЦК или, по крайней мере, главный редактор дал задание разыскать вдову Бухарина. Ничего подобного. Впервые о том, что жив сын Бухарина, художник Юрий Ларин, я узнал от барда и художника Евгения Бачурина, все собирался его разыскать. Потом Евгений Евтушенко прочитал на вечере «Огонька» в Театре эстрады стихотворение «Вдова Бухарина», и ему очень хотелось, чтобы оно появилось на страницах популярного издания. В то время я вел отдел поэзии в журнале и решил подготовить стихотворение к печати. Взял у Евгения Александровича телефон Анны Михайловны, чтобы получить фотографии ее и Николая Ивановича. Фотографию я получил, но вместо десяти минут пробыл я у вдовы Бухарина, как уже сказал, много-много часов.

Главный редактор все время сомневался: печатать или не печатать стихотворение Евтушенко, печатать или не печатать текст письма-завещания Бухарина «Будущему поколению руководителей партии». В конце концов Евтушенко отдал стихотворение «Известиям», и там мгновенно его опубликовали, а «Огонек» напечатал письмо-завещание Бухарина после «Московских новостей».

Несмотря на эти издержки, интервью с вдовой Бухарина в «Огоньке» произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Тысячи читателей были шокированы: так неожиданно появилась публикация и такой объемной она была. И о ком? О едва ли не главном «предателе» страны, о «шпионе» всех разведок, о «ренегате». Имя Бухарина, проклятое, как казалось, навеки, мгновенно обрело права гражданства. Я получил сотни писем и телеграмм: люди плакали от торжества справедливости, от торжества исторической правды. И еще: их взволновал искренний, бесхитростный рассказ Анны Михайловны о своей судьбе.

Спустя некоторое время после публикации на встрече руководителей средств массовой информации с Михаилом Сергеевичем Горбачевым В. Коротич в присутствии своих коллег сказал, что нужно поторопиться с реабилитацией сверху, ибо журналисты могут произвести реабилитацию снизу. Так оно и вышло. Факт публикации материала «Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил» был, в сущности, фактом начала

общественной народной реабилитации невинно осужденного Николая Ивановича Бухарина и всех, кого лишили жизни в те страшные годы. Спустя некоторое время газеты опубликовали решение комиссии при ЦК КПСС о реабилитации осужденных в тридцатые годы. Первым среди них был Н. И. Бухарин.

А та, кого сторонились и боялись как черт ладана, та, которая словно прокаженная прожила свою жизнь, стала самой знаменитой женщиной нашего времени, самой желаемой для журналистов, историков, писателей. Советских и западных. Жизнь резко изменилась: бесконечные интервью, встречи, выступления, поездки, приемы. Публикация в журнале «Знамя» воспоминаний «Незабываемое», выход книг Бухарина и исследований о нем, спектакли, пьесы, кинофильмы. Все хотели видеть живую вдову Бухарина. Студенты МЭИ по огоньковской публикации поставили пьесу, воспользовались материалом и в разных странах, в частности в Шри-Ланке, где также идет пьеса о Бухарине. Побывала Анна Михайловна в Риме на премьере художественного фильма «Товарищ Горбачев», созданного на основе нашей беседы с Анной Михайловной. Как рассказывала Анна Михайловна, режиссер дал волю своему воображению и добавил сцены, где она упрашивает мужа помириться со Сталиным. Такого не было и не могло быть.

Мне подарили сахарницу, на дне которой написано: «Стеклозавод имени Бухарина». Кто-то хранил этот раритет, рискуя жизнью. Я передал ее Анне Михайловне. Позвонили из Ленинграда: обнаружена пластинка с записью голоса Николая Ивановича, на другой стороне – голос Ленина. Дата выпуска – девятнадцатый год. Пришло загадочное письмо о том, что якобы в таком-то месте под Москвой запрятан чемодан с частью архива Бухарина. А недавно… Человек, работавший в похоронной команде, свидетельствует: однажды, когда на территорию Донского кладбища привезли очередную партию трупов, предназначенных для сожжения в крематории, в одном из них он узнал знакомое лицо. Для исследователей истории преступлений Сталина это важно: известна могила Бухарина.

Не могу не вспомнить и о такой реакции на публикацию в «Огоньке». В «Литературной газете» была напечатана статья некоего Ю. Максимова «Ретушь трагедии», в которой в уничижительном тоне говорилось о моем интервью, об Анне Михайловне, о ее отце, о Бухарине, о невинно убиенных. Статья тенденциозная, предвзятая. Скажу больше: мне показалось, что это была попытка реанимации реноме Н. Андреевой. К чести большинства литгазетовцев, на редакционной летучке главному редактору А. Чаковскому и тем, кто готовил материал к печати,

был заявлен протест.

Другое интервью вызвало бурную полемику, мешок читательских писем, перекличку зарубежных радиоголосов. А сколько язвительных комментариев было по поводу обложки. Четыре известных поэта: Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Окуджава – стоят на морозе, прижавшись друг к другу, и улыбаются в объектив. В дубленках, в модных сапогах, уверенные, довольные. Спустя месяц в телепередаче, где первый секретарь правления Союза писателей СССР В. Карпов принимает за чаем молодых писателей, один из них, размахивая девятым номером «Огонька» за 1987 год, будет взывать к состраданию советским шахтерам, очерк о нелегкой жизни которых помещен в том же номере. Это было настолько откровенно предвзято, неинтеллигентно, что «Комсомольская правда» вынуждена будет ответить на выпад репликой журналиста Ю. Гейко.

«Групповщина», «Левые берут»… Так восприняли материал «И были наши помыслы чисты…».

Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский на даче Евгения Евтушенко в Переделкино.

Обложка журнала «Огонек». 1987 г.

А началось с того, что «Огонек» готовил серьезнейшую публикацию антологии «Русская муза XX века», в которой история отечественной поэзии анализируется под углом зрения не искусствоведа, ученого, а авторитетного современного поэта Евг.

Евтушенко. Такой личностной антологии, насколько мне известно, раньше не было. И вот, предваряя годовую публикацию (а она растянулась на несколько лет), я предложил в качестве своеобразного анонса напечатать фотографию Евгения Александровича. Обсуждение свелось к тому, что решили попытаться собрать поэтов, начинавших свой творческий путь в пятидесятых годах, провести с ними интервью и подготовить обширный материал.

Надо сказать, что дело это было не из легких. Не все поэты с радостью и решимостью согласились на встречу. Непросто было определить и само место их свидания. В редакции? В Доме литераторов? В Союзе писателей? Дома. У кого? На даче. У кого? С решительным гостеприимством предложил принять гостей у себя на даче в Переделкине Евгений Евтушенко. Все согласились. Долго обсуждали день встречи, у всех дела да хлопоты, зарубежные вояжи, совещания, заседания, приемы. Договорились и о дне. Очень жаль, что никто из нас, пытавшихся это сделать, не смог убедить Беллу Ахмадулину приехать в Переделкино. Она наотрез отказалась от участия в общем разговоре.

А остальное описано в материале, вошедшем в эту книгу. Надо сказать, что воспоминания поэтов о годах их молодости, о хрущевской оттепели, о дружбе друг с другом в ту пору, о литературных учителях, о старших товарищах были на то время, то есть на начало 1987 года, уникальной исповедью не только друг перед другом, но и перед читателями, гласным откровением-размышлением о попытке переустройства жизни, искусства после XX съезда партии.

В моей комнате висит фотография, запечатлевшая встречу в Переделкино. Гости дома только что с мороза вошли в помещение, разделись и начали дружеский разговор, который, кажется, не прерывался никогда. О чем-то говорит Евгений Александрович, склонился к нему, задумавшись, Роберт Иванович, держит в руке листок с моими вопросами, прижавшись к батарее, Булат Шалвович, под парсуной притулился и смотрит куда-то вдаль Андрей Андреевич. Для любителей поэзии это мгновение, запечатленное фоторепортером, я бы сказал – историческое. Думаю, что вряд ли оно повторится. В одну и ту же реку дважды не войдешь.

Материал «Судьба моя сгорела между строк (Десять вечеров с Арсением Тарковским)» уже вышел в «Огоньке», но я по-прежнему наведывался в Переделкино, а потом в Дом работников кино в Матвеевском, куда переселились Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна. Встреч было, конечно же, не десять, а значительно больше. Я так сильно привязался к ним, что не

проходило и недели, чтобы не завернуть на чашку чая в знаменитую матвеевскую обитель. По поводу и без повода. Разговоры продолжались, воспоминания Арсения Александровича, тонко и изящно «обрамленные» репликами, вставками, ремарками Татьяны Алексеевны, наполняли мои рабочие огоньковские будни каким-то высоким смыслом.

Чету Тарковских навещали, естественно, и другие почитатели: молодые поэты, художники, артисты, столичные, провинциальные, заморские. После публикации в «Огоньке» мне стали звонить разные люди, прося о содействии во встрече с Тарковским, некоторые ссылались на имя Тарковского в просьбах опубликовать в «Огоньке» стихи. Всякий раз я серьезно относился к этим просьбам, доверяя вкусу большого поэта. И действительно, провалов не было. По рекомендации Арсения Александровича, в частности, мы напечатали стихи новосибирского поэта Владимира Малышева, после чего его приняли в Союз писателей СССР. Я уговорил Тарковского позволить заснять себя для телефильма, посвященного Марине Цветаевой.

Некоторые дни общения совпадали с торжественными событиями в семье Тарковских. В дни рождения Арсения Александровича, его 79-летия, потом 80-летия, в день сорокалетия свадьбы Тарковских мы поднимали бокалы, говоря банальные, но искренние слова о вечном здоровье и долгой жизни. А между тем Арсений Александрович часто недомогал и угасал почти на глазах. Часами он мог сидеть в своем кресле молча и вроде бы принимать участие в общей беседе, но мне казалось, что жил он уже в своем, собственном мире и реагировал на жизнь вокруг, откликаясь только на просьбы, призывы, мольбы Татьяны Алексеевны – верного друга, жены, повелительницы. «Арсюша, я прошу тебя, не кури, ты сегодня уже исчерпал свою норму – три сигареты». И он, словно маленький мальчик, послушно откладывал в сторону спички и шевелил губами: «Ах, да…». «Ты можешь вспомнить такое-то стихотворение?» – говорила в другой раз Татьяна Алексеевна, и он вспоминал и замечательно прочитывал на память любимых поэтов.

Однажды мы повезли его, инвалида войны, в какое-то московское захолустье, на завод по производству протезов. Старый отечественный протез быстро пришел в негодность, ныла натертая нога, и он терпел уже через силу. Фронтовик, пожилой человек часами выжидал то мастера, то приемщицу, то заведующего. Как стыдно мне было. Я не выдержал и устроил скандал. Протез быстро исправили, но от этих поездок в памяти осталось тягостное чувство.

…9 мая 1987 года я приехал к Арсению Александровичу

поздравить его с Днем Победы. Заговорили об Андрее Арсеньевиче – сыне поэта, кинорежиссере, незадолго до этого скончавшемся во Франции от рака. Татьяна Алексеевна вспомнила о письме, присланном им из Италии несколько лет тому назад. Несколько раз она произнесла: «Бедный Андрей, совершенно невиновный». Заинтересовавшись, я попросил показать это письмо. Мне почудилось, что в нем есть что-то важное, неожиданное. Татьяна Алексеевна вышла в другую комнату, и я с нетерпением ждал ее возвращения. «Куда же оно запропастилось? – все повторяла она. – Ведь мы никому его не давали читать». Наконец письмо обнаружилось, и я стал читать его вслух, довольно быстро разбирая правильный почерк Андрея Арсеньевича, кстати, невероятно похожий на почерк отца. Прочитав письмо, я почувствовал, что содержание его выходит далеко за рамки частного послания родному отцу, что в нем, помимо бытовых личных деталей, сообщается о принципиальных вещах в судьбе режиссера, о том, что происходило еще недавно в нашем киноискусстве. Его немедленно надо опубликовать! День был воскресный, и я позвонил главному редактору. А дальше все произошло стремительно быстро: последнее письмо Андрея Тарковского своему отцу было опубликовано. Комментарий к нему мне помогла сделать дочь Арсения Александровича Марина Арсеньевна.

И здесь я хочу сказать вот о чем. Сегодня, когда пишутся эти строки, уровень гласности нашей печати, нашего общественного самосознания, несмотря на какие-то издержки, определенно высок. Мы можем сегодня писать и рассуждать в печати о многом. К сожалению, не обо всем, но о многом. С другой стороны, я всегда считал, что уровень гласности проходит через сердце и душу каждого журналиста, каждого редактора. Он как бы сам себе цензор. Иной цензуры в по-настоящему демократическом обществе быть и не может. Гласность завоевывалась медленно, поначалу она измерялась миллиметрами, сантиметрами, намеками, полувздохами. Глотки свободы давались с трудом. Так вот, письмо Тарковского в первом своем варианте напечатано с редакционными купюрами. Из текста письма изъяли фамилии Ф. Ермаша, бывшего председателя Госкино СССР, и режиссера С. Бондарчука, которых А. А. Тарковский впрямую считал виновными в том, что он вынужден жить далеко от Родины, что они травили его и не давали возможности работать. Потом, позже, появятся публикации с критикой в адрес застойного Госкино и влиятельного деятеля нашей кинематографии С. Бондарчука. Все это воспринимается сегодня естественно, без сенсаций. Но тогда, то есть всего три года назад, упоминание

имен подобного ранга в негативном контексте казалось недозволительным, «страшноватым». Даже В. А. Коротичу. Первая встреча в 1980 году с известным колумбийским писателем далась мне очень трудно. И только недавно, анализируя и вспоминая все как было, я понял, почему все так произошло. Габриэль Гарсиа Маркес приехал в Советский Союз, где не был до того семнадцать лет, со времени Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Теперь же он прибыл в качестве гостя очередного Международного Московского кинофестиваля. Приезд его был окутан тайной, которая только усиливала мое желание взять у него интервью. Но желание это странным образом наталкивалось на неприкрытое противодействие тех, к кому я обращался за информацией или помощью. С представителем «Огонька» говорили неохотно, сквозь зубы. И в Союзе кинематографистов, и в группе обслуживающих гостя переводчиков, сопровождающих его лиц, да и в самой гостинице «Россия», где он поселился. И вот в одночасье я узнаю, что Габриэль Г. Маркес находится в Переделкине у поэта Андрея Вознесенского. Ну, подумал я, Андрей Андреевич явно посодействует давнему знакомому. Звоню, хозяин поднимает трубку, и, только я заикаюсь, что начальство журнала поручило мне взять у Маркеса интервью, он прекращает разговор: «Не могу говорить, перезвони через час».

Феликс Медведев с Арсением Тарковским и его супругой

На другой день я раскрываю новую «явку» знаменитого гостя, но снова тот же результат: под всяческими отговорками меня не

соединяют с переводчиком Габриэля Г. Маркеса. Тогда я, захватив с собой знакомого толмача с испанского, с великим трудом прорываюсь в гостиницу «Россия» на 17-й этаж, где жил московский гость. Кажется, мне ничто уже не помешает. Вот и Габриэль Г. Маркес с женой и двумя сыновьями выходит из номера. Два слова с сопровождающим его лицом. Вручаю выпущенную в библиотеке «Огонька» книжечку рассказов писателя и жду приглашения на беседу. Но… новая заминка. Сопровождающие лица и Габриэль Г. Маркес перебрасываются несколькими фразами и извещают меня, что писатель не может беседовать с корреспондентом «Огонька», так как уже дал интервью другому журналисту. Я в отчаянии. Я не понимаю, в чем дело. Я настаиваю на интервью, я прошу объяснить писателю, что журнал «Огонек» имеет миллионный тираж, что мы выпустили его книгу. И хотя бы в знак благодарности он может побеседовать с «огоньковцем» десять минут. Габриэль Г. Маркес непреклонен. В чем дело? По-видимому, ему в таком свете представили «Огонек» и его редактора, что он не хочет иметь дело с представителем этого печатного органа. Признаться честно, тогда я не понимал причин такого демарша знаменитого писателя. И тогда я пошел на отчаянный шаг. Габриэль Г. Маркес садится в машину, чтобы отправиться в Звездный на встречу с космонавтами, и я буквально вталкиваю в «Чайку» пришедшего со мной друга-переводчика. «Записывай все, что он будет говорить, – шепчу я ему. – А потом перескажешь мне…» Так и вышло.

Публикацию для «Огонька» я подготовил. Чтобы не вводить читателя в заблуждение, я честно назвал ее «В двух шагах от Маркеса», но заголовок сняли, он показался неконкретным. А мне было стыдно и обидно: я так и не поговорил с писателем, который особенно в те годы, после публикации в Советском Союзе романа «Сто лет одиночества», был необычайно популярен, я, в сущности, лишь пересказал то, что он говорил другим.

Прошли годы. Многое изменилось в мире. Знаменитый колумбийский писатель стал лауреатом Нобелевской премии. Апрель 85-го года дал нам возможность многое увидеть другими глазами, движение гласности приковывало к нам внимание всего мира. Мы стали доступней для всех, кто искренне поверил в перестройку.

Иным стал и журнал «Огонек». И не просто иным. Он как бы родился заново, в короткий срок стал синонимом эпохи демократии и гласности в Советском Союзе, а по данным института Гэллапа – самым популярным в мире журналом.

Весна 1987 года. Москва снова готовится принять гостей Международного кинофестиваля. И снова узнаю: в Москву

собирается Габриэль Г. Маркес. И снова загораюсь желанием встретиться с ним, взять у него интервью. Только на этот раз происходит нечто странное и загадочное: еще не вылетев из Парижа, всесветно знаменитый писатель делает заявление, что по приезде в Москву он не будет встречаться с журналистами, которых по-прежнему недолюбливает, но у него огромное желание встретиться с «Огоньком». Вот так метаморфоза: сам Габриэль идет мне в руки! Не надо за ним бегать, искать его, чувствовать себя перед кем-то виноватым.

Так оно и вышло. Правда, писатель не сдержал полностью слова: он дал в Москве семьдесят пять интервью. Вел он себя еще более горделиво, чем раньше, мне даже показалось, чуточку капризно. Отказывал во встречах многим домогателям, не разрешал записывать на телевидение его встречу с редакцией журнала «Новый мир», покинул кинотеатр «Октябрь», куда пришел на премьеру фильма Тарковского «Ностальгия», сочтя, что его встретили недостаточно приветливо. Наверное, мэтр современной литературы во многом и прав, мы далеко еще не научились общению с людьми такого ранга и подчас не понимаем самых элементарных этических нюансов.

…Уговариваю В. Коротича быть на встрече. Наверное, гостю интересно, думаю я, пообщаться с редактором журнала, о котором говорит весь мир. Но у шефа срочные, неотложные дела. Наконец принимается компромиссное решение: мы заедем за писателем в гостиницу «Россия», и главный редактор проводит его до редакции. А там уж, как я уговорился с писателем: во встрече должно принимать участие десять человек, не более. По дороге два именитых собеседника перебрасываются несколькими фразами по-английски, через десять минут пути Коротич покидает машину.

Провожаю Габриэля Г. Маркеса на пятый этаж знаменитого «правдинского» офиса напротив Савеловского вокзала. В кабинете редактора, где уже ждут особо избранные для встречи, я включаю диктофон. Впрочем, все, что было дальше, слово в слово рассказано в интервью на страницах этой книги.

Вместо тридцати минут, которые писатель выделил для встречи в «Огоньке», он провел в его стенах почти три часа и остался необыкновенно удовлетворенным. Уже уходя, прощаясь, в лифте он сказал фразу, которую мне как-то даже неловко произносить: он сказал, что журнал «Огонек» опережает всю советскую прессу на десятилетия, а журналисты «Огонька» на голову выше тех, с кем ему приходилось встречаться в Москве. Мне могут не поверить, но вы можете об этом спросить переводчика Марину Сергеевну Окопову. Она засвидетельствует.

Нынешний «Огонек» по-прежнему в центре читательского внимания. И у нас в стране, и за рубежом. У журнала образовалась своя аудитория, та, что поверила его новому курсу, его позиции, его наступательности. Правда, сегодня вся пресса на виду. В каждой газете или журнале печатается такое, о чем раньше, еще год-два назад, невозможно было мечтать. И «Огонек» на этом общем фоне, я бы сказал, все более выравнивается, становится ранжирным. Сегодня журналистике и просто и сложно. И вот здесь, мне думается, как и раньше, как и во все времена, достижением публицистики, печатного слова должна считаться публикация на острую тему. Девиз: если ты смелый, значит, ты первый. Надо выше поднимать уровень гласности, не боясь, не страшась. Ведь за первым пойдет второй. Читатель нынешний понимает, где редакция берет на себя удар сама, а где она находится под прикрытием, под высокой защитой. И в этом смысле хочу помочь будущим историкам журналистики. Уважаемый «Огонек» далеко не полностью использовал всю полноту и силу своих творческих возможностей. Преуспел он, конечно, во многом, не стану конкретизировать – у читателя хорошая память. А вот не успел тоже во многом. Я бы сравнил ситуацию с состязанием на беговой дорожке, когда к финишу приходят два или три спортсмена и только электронный секундомер фиксирует, что грудь второго на сотую долю секунды отстоит от груди первого. И победитель – первый. Мне уже как-то напоминали, что перестройка, дескать, не беговая дорожка и журналистика не состязание бегунов. Категорически не согласен. И перестройка – это ускорение, и подлинная мужественная журналистика сегодня – это та, что идет впереди общественного мнения, впереди принимаемого Советом министров или Политбюро решения. Ведь только так, только стремясь вперед, можно расширить горизонты гласности, очищая нашу историю и заглядывая в наше будущее. Как же иначе? В одной ленинградской газете я прочел своеобразную социологию телепередачи «Пятое колесо», а именно, какие темы впервые в советском телевидении подняла эта популярнейшая ныне передача. Впервые!

Так вот, «Огонек» мог бы оказаться еще интереснее, глубже, оперативнее, мужественнее, дерзновеннее, если бы в силу разного рода обстоятельств (согласование с начальством, боязнь риска, принятия на себя первого удара) не упустил возможности в свое время первым в современной прессе напечатать: интервью с Борисом Ельциным, интервью с академиком Сахаровым, материал о Солженицыне, стенограмму обсуждения Бориса Пастернака при исключении его из Союза писателей, материал об Александре

Галиче, стихи Иосифа Бродского, материалы дела Чурбанова, отклик на публикацию статьи Нины Андреевой в «Советской России», тот или иной неофициальный материал (интервью, статья) о М. С. Горбачеве, А. Н. Яковлеве или ином члене Политбюро, отклики, связанные с судьбами видных советских деятелей культуры, оказавшихся в годы застоя на западе, таких как Аксенов, Войнович, Ростропович, Максимов, Барышников… Этот перечень я мог бы продолжить. Повторяю, журнал многое успел сделать и в чем-то был именно первым, но согласитесь, что перечисленные мной темы, имена, события – первоважнейшие для такого впередбегущего органа печати, как «Огонек».

Новый главный не применял силовых методов в кадровых вопросах. Но журналистам «Огонька» стало нелегко. Все понимали: чтобы остаться в новом журнале, надо работать по-новому. Кто не может, должен уйти. На дворе революция, требующая обновления, революция, которая должна перевернуть мир, вдохнуть в нашу историю дыхание очистительного озона. Не все этого хотят. Тоскуют по старым временам. Помню, с какой злобой и ненавистью смотрел нам в глаза один из тех, кто вынужден был уйти. Он привык только руководить, и руководить, только ориентируясь на мнение в коридорах власти, где постоянно пребывал.

Творческий вечер журнала «Огонек».

Ведущий Ф. Медведев.

50-летие «Огонек» отметил в 1973 году, а 100-летие – уже в 1999 году. Это связано с тем, что во времена СССР официальной датой основания журнала было 1 апреля 1923 года, но в начале 1990-х редакция издания восстановила историческую справедливость и рассказала читателям о том, что первый выпуск легендарного журнала вышел в 1899 году

После публикации беседы с вдовой Бухарина одна из радиостанций заявила, что журналист, готовивший этот материал, рискует. А сколько оборвалось знакомств. Иные стали по разные стороны баррикад. Трудно теперь уже представить, чтобы некоторые из них когда-либо сошлись во мнениях о путях истории. Дай мне бог ошибиться. Но, думается, перестройка не только консолидировала общество, но и в чем-то разъединила его, расслоила. Но пути назад нет. Нет остановки, возвращения в тридцать седьмой, в беззаконие, в брежневщину. Мне кажется, что тем, кто поверил в перестройку, тем, кто делает для нее конкретное дело, отступать некуда. Впереди только одна дорога – дорога вперед.

Хождение по минному полю Феликс Медведев о журналистике, библиофилии и рулетке

Феликс Николаевич Медведев (р. 1941, Москва) – журналист, писатель. Внук члена Коминтерна венгерского поэта Золтана Партоша, правнук классика венгерской литературы Шандора Броды. В СМИ публикуется с 1954 года – вначале под фамилией Партош, затем под фамилией отчима. Окончил Московский полиграфический институт. С 1973 года работал в издательстве «Советский писатель», журнале «Родина», газетах «Книжное обозрение», «Мир новостей», «Версия – Совершенно секретно». Член СЖ с 1964 года, член СП России, лауреат премии СЖ СССР (1987), лауреат премий журналов «Москва», «Огонек», газеты «Вечерний клуб» и др. Автор книг «Судьба моя сгорела между строк», «Трава после нас», «Цена прозрения», «После России», романа-детектива о гибели принцессы Дианы «Смерть под вспышкой», «Кумиры – гангстеры – премьеры», «Красавицы – кумиры – короли», «Я устал от XX века» и др. После публикации в прессе отрывков из романа «Мемуары из казино, или Игрок-2» стал известен как азартный игрок в рулетку.

Его еще помнят многие: с 1987-го по 1991 год он вел популярную телепередачу «Зеленая лампа». Прямо из своей квартиры на Покровке, что для своего времени было телеэфирным ноу-хау. А из Франции – цикл «Парижские диалоги». А из Мюнхена – по радио «Свобода» и из Вашингтона по «Голосу Америки» вещал о горбачевской перестройке. Пятнадцать лет Феликс Медведев проработал обозревателем в журнале «Огонек». Его интервью со знаменитыми деятелями российской культуры Евгением Евтушенко, Виктором Астафьевым, Чингизом Айтматовым, Андреем Вознесенским, Василем Быковым, Расулом Гамзатовым, Сергеем Михалковым и многими другими становились сенсацией. Объездив полсвета, выпустил несколько книг интервью с мировыми знаменитостями от Жаклин Кеннеди, Франсуазы Саган и Иосифа Бродского до Курта Воннегута, Габриэля Гарсиа Маркеса и Артура Миллера…

– Феликс, почему именно интервьюирование стало вашей специализацией?

– Думаю, сыграл роль склад моего характера, натуры. Я эмоциональный, неугомонный, экстравертный субъект.

Расспрашивать людей, особенно людей необычных, ярких – для меня кайф. Ставший весьма известным мой фотомонтаж под «скромным» титулом «Люди, которых я знаю», переходящий форзацем из книги в книгу, насчитывает несколько тысяч знаковых для меня персон XX века и наших дней. Еще в юности я проинтервьюировал инкассатора банка, материал назывался «Человек с миллионом»; потом был разговор со старцем, знавшим художника Левитана. На даче в Архангельском, вернувшись из армии, где я служил в ракетных частях три года, я добился встречи со сталинским маршалом Мерецковым. А в 1967 году прилетел из Кургана, где тогда жил, для интервью с бывшим министром здравоохранения СССР, «железной женщиной», отменившей в стране запрет на аборты (поперек Сталина и Хрущева) Марией Дмитриевной Ковригиной. Одно из последних «крутых» интервью – тяжелый разговор в наркоклинике под Москвой с чеченским боевиком с вывернутым глазом, имя которого я так и не узнал. Он умирал от гепатита и рака. Особой удачей считаю несколько долгих расспросов в Жуковке приемного сына вождя народов генерала Сергеева, родного сына большевика Артема. Друг Василия Сталина умер два года назад.

Одним словом, моя творческая практика в этом жанре столь объемна и многообразна, что я с удовольствием повел бы курс на каком-нибудь журфаке. Студенты, я уверен, слушали бы меня раскрыв рты. Кстати, в жанре интервью я делаю полновесные биографические тома. Они, как правило, выходят ограниченным тиражом, что называется, для внутреннего употребления – дарения друзьям. Такими стали, к примеру, студии о Владимире Жириновском и об одном из умнейших людей нашего времени члене Рокфеллеровского клуба Феликсе Комарове.

– Некоторые считают, что интервью проще других журналистских жанров. Знай себе – задавай вопросы…

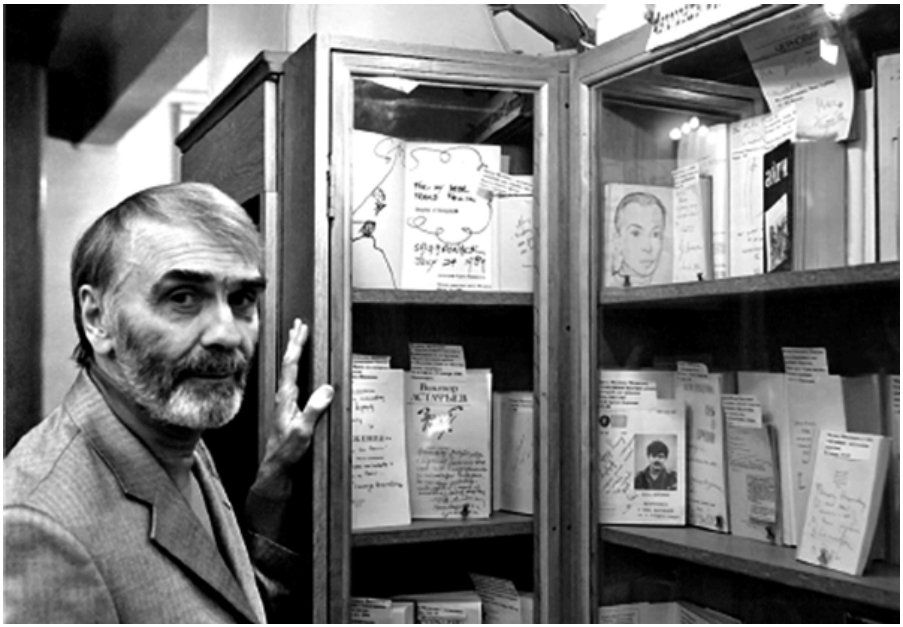
– По высокому счету это категорически не так. Настоящий интервьюер, простите меня за нескромность, это не только человек широкой информированности, определенной культуры, в хорошем смысле амбициозный, еще он должен быть тонким психологом и, я бы сказал, почти экстрасенсом. Одним словом, чтобы человек перед тобой раскрылся, ему должно быть интересно общаться с тобой, и поэтому ты должен быть не только на одном с ним уровне, но и выше его. Кем бы он ни был – классиком литературы, академиком, министром, «авторитетом». К мэтрам этого жанра я причисляю Илью Эренбурга, Мэлора Стуруа, Бернара Пиво, Олега Церковера, Ларри Кинга, Зою Богуславскую, Леонида Плешакова, Владимира Молчанова и «местами» Владимира Познера и Сергея Доренко.

Опубликованный материал – это всего лишь надводная часть айсберга. Я, к примеру, готовясь к встрече со своим героем, перепалываю свою библиотеку, архив, ища биографический материал о нем. А главное – я всегда волнуюсь. Любая встреча-интервью с человеком, которого я знаю пусть и много лет, для меня – очередной экзамен. В чем? А что, если за те несколько лет, которые мы не виделись, он изменился, «заматерел»? Ведь я могу попасть впросак… Каждое интервью требует подготовки. Несколько полок в моей библиотеке посвящены книгам, связанным с жанром интервью, и первая в этом ряду книга Генриха Боровика, в которую вошла его беседа с Александром Керенским. Одним словом, по нужной мне теме у меня в квартире свой «Библио-Глобус».

– Когда вы берете интервью, то записываете от руки или на диктофон?

– До первого, приобретенного в конце семидесятых годов диктофона писал от руки. Все вроде бы выходило как надо. Но, как ни странно, с записями голосов вышло несколько конфузов. К примеру, часовой разговор с Сергеем Наровчатовым, главным редактором «Нового мира», не записался. Включил звук и замер. Что делать? Память была молодая, она-то меня и спасла. Мэтру интервью понравилось, он ничего не заметил.

А вот княгиня Зинаида Шаховская, поэтесса, подруга Марины Цветаевой, знакомая с самим Иосифом Виссарионовичем, с которой я общался в Париже, прислала в «Книжное обозрение» письмо, где указала примерно на двадцать якобы допущенных мной погрешностей в интервью с ней. Прочитав ее письмо, я был удивлен – ведь диктофон не может «соврать». Я был уверен, что память изменила Зинаиде Алексеевне. И еще надо учесть, что княгиня обладала нелегким характером, слыла довольно язвительной. Но перед дамой я поступил честно – попросил редактора опубликовать ее послание одновременно с моими комментариями. Инцидент, как считаю, был исчерпан.



Выставка книг с дарственными надписями из коллекции знаменитого библиофила Феликса Медведева.

Центральный дом литераторов. 2012 г.

Но самый неожиданный и чуть не доведший меня до инфаркта случай произошел в Нью-Йорке в январе 1988 года, когда я обнаружил, что мой телефонный разговор с Иосифом Бродским – тишина. Бродский – это не Наровчатов, тут каждое слово на вес золота. Нобелевский лауреат изучен в лупу, у него на Западе триста интервью взяли, так что не соврешь. А потом Найман и Рейн могли бы возмутиться: ты что, старик, Иосиф не мог так сказать! Я же заперся в номере гостиницы и, напрягшись, по памяти записал наш разговор. Во всяком случае, никто меня не упрекнул в искажении образа мысли великого поэта, а это мое интервью под названием «Человека всегда можно всегда спасти…» входит во все сборники интервью с Бродским, которые он дал на Западе журналистам. Так что повторю: каждое интервью со значительной личностью – для меня как хождение по минному полю.

Но вы, наверное, знаете, коллега, к сожалению, в наши дни конечный результат работы зависит не только от исполнителя-журналиста.

– Не хотите ли вы сказать, что этот результат зависит от меркантильно-материальных потребностей издания?

– Именно так. И еще от низкой профессиональной культуры младоредакторов. Пару примеров. До января 1999 года я

пребывал в добрых отношениях с замечательным актером Валентином Гафтом. И вот в газете, где я тогда работал, мною было подготовлено интереснейшее с ним интервью. Я всегда стараюсь довести свой материал «до кондиции», контролирую прохождение его до сдачи в типографию. Именно так поступил я и в тот раз. Какой же шоковый удар получил в прямо в темечко, разбуженный в час ночи телефонным звонком Гафта. Вместо обычного «Феля» я с ужасом услышал гневную тираду в мой адрес о желтой прессе. Оказалось, что подписывавший номер заместитель главного редактора в самую последнюю секунду заменил мой заголовок на первой полосе на словоподбор, оскорбительный для героя публикации. Желтый слоган должен был принести казне издательского дома чувствительную прибыль. К великому сожалению, после той истории мы с Гафтом больше не общались.

Второй эпизод связан с Ириной Родниной. Два года назад в Москву прилетел из США бывший партнер Родниной по фигурному катанию Алексей Уланов, который целых двадцать лет не давал интервью нашим журналистам. Мне повезло – по рекомендации известного артиста, его друга, Алексей согласился на откровения со мной. В то время я работал в «Экспресс-газете», руководство которой очень захотело иметь на своих страницах материал о проживавшем на Западе известном фигуристе. «Но, – решительно заявили мне экспресс-начальники, – этот материал нас будет интересовать только в одном случае: если в нем будет сказано, что Уланов на чемпионате мира специально уронил свою партнершу». Имея перед Улановым журналистские обязательства, я никоим образом не мог и не должен был этого написать. Было обидно, ведь я владел уникальной информацией. Но, увы, таковы нравы некоторых нынешних СМИ.

Не могу не рассказать еще об одном случае, произошедшем уже в третьей газете. В связи с юбилеем сестры Марины Цветаевой – Анастасии – я подготовил полосную публикацию. Как всегда, проследил прохождение материала до последней стадии. Тем не менее на другой день после выхода номера я обомлел, увидев подпись под фотографией двух сестер – «Марина и Настя Цветаевы». Для малопросвещенного читателя эта подпись ни о чем необычном не говорила. Но весь секрет в том (и об этом не ведала симпатичная, с комсомольскими ухватками девушка, зам. главного редактора, которая сделала эту подпись и отправила номер в печать), что в семье Цветаевых младшую из сестер никогда не называли Настей, а только или Анастасией, или Асей. В тот же день позвонил директор цветаевского музея и сделал позорный для меня выговор. Мне было до бесконечности стыдно:

ведь в книжно-библиофильском мире я слыл не только владельцем внушительной «цветаевианы», организатором вечеров, посвященных Марине Цветаевой, но и был лично знаком с Анастасией Ивановной.

– Насколько я знаю, вы и сами когда-то писали стихи…

– Это так. В 1959 году во Владимире проводилось совещание молодых писателей. Поэтическим семинаром руководил тогда еще малоизвестный Андрей Вознесенский. Когда я звонким голосом прочел стихи, они ему понравились. Мы познакомились. Потом он подарил мне первую свою книгу «Мозаика», которая, кстати, вышла во Владимире. А через несколько лет мои стихи появились в «Днях поэзии» и с предисловием Вознесенского были напечатаны в «Литературной России».

В то время после армии я работал сначала в петушинской районке, а затем меня перевели во владимирскую газету «Призыв». Но проработал я ней всего три недели. Здесь я должен заметить, что всегда был общественно активным и жил, что называется, «поверх барьеров»: выступал в библиотеках и дворцах культуры, охотился за «одиозными» для того времени персонами вроде пребывавшего в ссылке во Владимире врага советской власти ярого монархиста Василия Шульгина, всяческими путями пытался раздобывать ходившую в списках неофициальную литературу. За все это пришлось заплатить.

В 1967 году в Москве состоялся IV съезд Союза писателей. Глава Владимирской писательской организации Сергей Никитин, с которым я дружил, пригласил меня с собой на этот съезд. Там-то, в кулуарах, я получил размноженное письмо Солженицына к съезду. Оно у меня хранится до сих пор как реликвия. Со съезда писателей вернулся с крамольным письмом в портфеле, не понимая, что держу бомбу. К тому же в свой кабинет в редакции газеты «Призыв» я привез напечатанную в западногерманском журнале «Штерн» и нашумевшую на весь мир «Преждевременную автобиографию рано созревшего человека» Евгения Евтушенко. Мой дядя журналист, знавший немецкий язык, перевел ее для меня. Кстати, лишь недавно Евтушенко включил это сочинение в одну из своих книг.

В редакции я засунул два запретных текста в ящик рабочего стола. Наверное, хотел показать коллегам. Утром чувствую что-то не то, завотделом литературы Шерышев не смотрит в мою сторону, а на другой день меня вызвали в органы. «Проработка» шла две недели, после чего я понял, что мне лучше из Владимира уехать. И подальше.

К тому времени у меня закрутился роман с девочкой, которая вместе со мной выступала со стихами. Ее отца в то время

переводили в город Курган, и мы, поженившись, переехали вслед за ним. Вдалеке от Москвы я прожил три года. Работал журналистом в областной газете, сотрудничал с писательской организацией, брал интервью у знаменитых зауральцев. Летал в Москву за интервью, как я уже сказал, к Марии Ковригиной, писателям Алексею Югову и Сергею Васильеву, спортсмену Валерию Брумелю, многие месяцы лечившемуся у курганского доктора Илизарова…

– Вернемся к вашему любимому жанру. Скажите, появлялось ли у вас когда-либо ощущение некой вторичности вашего разговора с очередным собеседником? Как будто бы он все это не раз говорил кому-то другому?

– Отвечу так. В стародавние времена такого быть не могло. Это возможно сейчас, сегодня, когда существует море газет, интернет-сайтов, телеканалов. Двадцать лет назад выходило и всего-то десяток центральных газет, каждая из которых ревниво относилась к другой. Рассуждали так: о твоем герое только что писал, скажем, «Труд», так что надо подождать, старик, полгодика… Нынче все иначе.

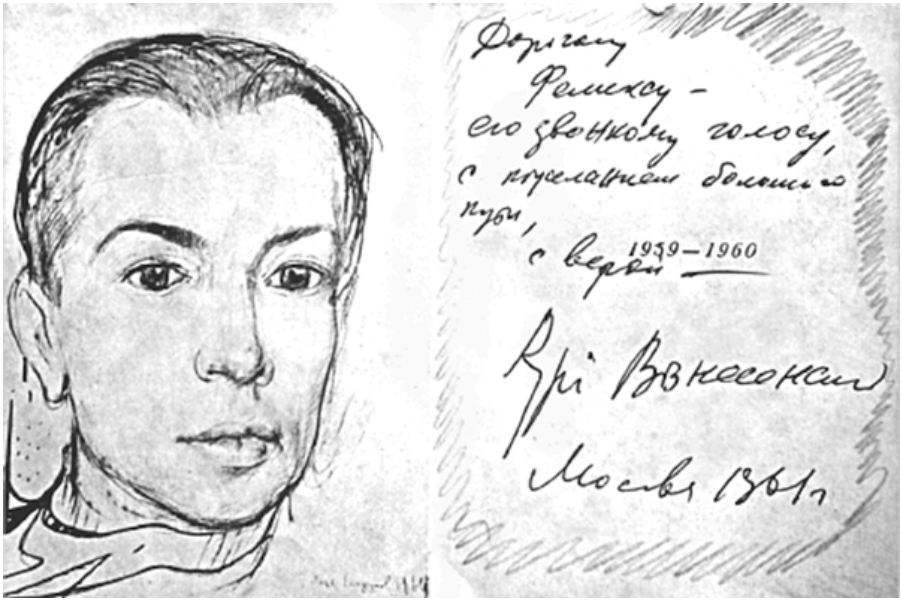
Я вот покупаю сегодня всего две-три газеты, включая «Независимую». Почему? Потому что везде одно и то же. У меня рвота на любовно-детективные сериалы про Заворотнюк, Рудковскую, Собчак, Билана, Плющенко… Теперь вот новый сериал про Орбакайте – Байсарова. В каждой из газет! По всем телеканалам! Набитый сплетнями Интернет.

А что с литературой? Я прохожу мимо сочинений одноразового потребления. Культура чтения, выбора книг давно уже ниже плинтуса. Что же касается самых раскрученных, вроде Сорокина и Пелевина, лично мне они не интересны. Пробовал читать романы Быкова, не мог переварить. Хотя взахлеб проглотил его ЖЗЛ-овских Пастернака и Окуджаву. Я потребитель литературы non-fiction, документального чтива, мемуарных штудий, когда все герои выступают под своими настоящими именами. И еще в таких книгах история предстает, как правило, живой, настоящей, «больной» и великой.

– Понятно, почему именно в горбачевские времена вы, работая в «Огоньке», сделали журналистское имя. Не страшно ли вам было тогда? Не нажили ли вы себе врагов? Не разочаровались ли в том, за что боролись?

– На эту тему можно говорить долго. Во-первых, быть может, о самом принципиальном для меня – о том, что я ушел из «Огонька» по собственному желанию, ушел от Коротича, который, как я считаю и сегодня, предал меня. А ведь он был моим кумиром. Я искренне ему верил. Подробно об этом я написал в

своей новой книге «Я устал от XX века» в главе «Постогоньковский мемуар».



Дарственная надпись Феликсу Медведеву от автора на первой книге Андрея Вознесенского «Мозаика».

Портрет сделан рукой тогда еще малоизвестного Ильи Глазунова

Что касается тех, кто видел во мне идеологического чужака, то, прежде всего, я так и не понял до сих пор, за что меня ненавидел покойный Савелий Ямщиков (царство ему небесное!), который много сделал для сохранения наших храмов, икон и прочих древностей. Он приходил в «Огонек» к Владимиру Енишерлову, как в дом родной, и публиковал статьи о необходимости восстановления храмов и монастырей, что в середине семидесятых годов не очень-то приветствовалось, тем более в «Огоньке», где главредом был Анатолий Софронов. В те времена в творческих домах Москвы я проводил встречи с известными людьми. В Доме архитекторов организовал я и вечер Савелия Васильевича. Когда же перестройка набрала силу, мы оказались по разные стороны баррикады. Прошло двадцать лет, три эпохи – Ельцин, Путин, Медведев, а Савва со страниц газеты «Завтра» и в своих книгах все твердил: «перестройка-перестрелка, все эти феликсы медведевы…». Последнюю свою статью в этом духе опубликовал незадолго до смерти…

– За что он вас так ненавидел?

– Ямщиков не мог мне простить общественную реабилитацию Бухарина, имея в виду мою первую публикацию, посвященную горькой судьбе Анны Михайловны Бухариной-Лариной. А в чем, собственно, была виновата восемнадцатилетняя девушка-красавица, ставшая женой ближайшего соратника Сталина? Женщина, которая после расстрела мужа четверть века провела в лагерях и ссылках и своего сына увидела только через двадцать лет. Да, конечно, в том, что творилось в тридцатые годы, виноват и Бухарин. Виноват легион сталинских сатрапов, уничтоживший миллионы безвинных людей. Политика, как считают, дело ветреное. Куда подует, там и «правда». Нынче подуло – кто начал Вторую мировую войну? Виноваты ли в этом поляки? А виноваты, по-видимому, все. По ту и по эту сторону реки Вислы. Истину же знает только ветер…

– Сколько всего вы взяли интервью?

– В неделю у меня выходило одно, иногда два. Умножайте на количество лет. Но в моем творческом активе еще и телевизионные интервью. На съемках «Зеленой лампы», которая снималась у нас дома, побывало человек сто пятьдесят гостей из разных стран. В каждой передаче принимало участие два-три человека, с которыми я беседовал. Плюс мои интервью прямо на сценах творческих домов Москвы, в центральных домах литераторов, архитекторов, журналистов, актеров, медработников.

– Они у вас записаны?

– Да, у меня огромный архив: аудио– и видеокассеты.

– Я много слышал о вашей коллекции редких книг, автографов, с рассказом о судьбе которых вы регулярно выступали. Коллекционирование было вашей сильнейшей страстью. Но ходят слухи о том, что в результате другой страсти – игры в рулетку – вы многого лишились. Так ли это?

– Здесь достаточно и правды, и досужего вымысла. Буквально на днях в «Википедии» повисли данные о том, что я, цитирую, «еще в советские времена имел три машины и личного шофера». Любой здравомыслящий индивидуум, я бы даже сказал, обыватель понимает, что в ту приснопамятную эпоху тремя машинами не мог владеть даже хозяин овощного рынка или подпольный цеховик. Откуда появилась эта сказка? Оказалось, все просто. В 1997 году у меня взял интервью солидный «Коммерсант». Я, к сожалению, доверился коллеге-журналисту и не попросил дать мне на прочтение подготовленный материал. Вот и получил шишку на лбу.

На самом деле задача решается просто: да, как владелец крупной библиотеки и активно работающий журналист,

выпускавший свои книги стотысячными тиражами, выступавший с лекциями в разных городах страны, я имел какие-то деньги. Однажды мой знакомый «огоньковец», поклонник «Ленкома», попросил меня о странной услуге: «Старик, – сказал он, – я знаю у тебя есть какие-то башли, помоги нашим любимым захаровским актерам. Время на дворе лихое, и (он назвал имена трех народных артистов) ребята хорошо подзаработали на левых концертах и хотят купить новые машины. У тебя нет „колес“, купи у них по дешевке их старые». Ничего не понимая в этом деле, я попросил знакомого парня, преподавателя в школе вождения, организовать мне это дело. Сказано – сделано. А поскольку я абсолютный технический дебил и техника меня никогда не волновала (я и сегодня не могу пользоваться компьютером и с трудом освоил мобильный), через месяц приобретенную полурухлядь я оставил в подарок своему другу-водителю. Вот и вся история, господа.

Что касается моей страсти к коллекционированию книг. Если объективно, главной страстью всей моей жизни была журналистика, а потом уже библиофильство и рулетка. Десятки лет я собирал первые издания русских поэтов, от Ломоносова и Державина до Ахматовой и Цветаевой. Тысячи тоненьких первоизданий советских поэтов стояли на полках. Я гордился огромным количеством дарственных надписей на бесценных раритетах. Я не прятал эти ценности у себя дома. Сотни любителей поэзии посещали выставки книг из моей коллекции. Я много писал о ней в прессе, рассказывал по телевидению. И был бы я сегодня по-настоящему чистым миллионером, если бы в октябре 1988 года не попал в Париж…

– А что случилось в Париже?

– Я познакомился и подружился с хозяином магазина русской книги по фамилии Лемперт. Одна из его дочерей – Роза – была замужем за внуком великого Леонида Андреева, сыном Вадима Андреева – Александром. Лемперт пригласил меня к себе на дачу примерно в ста километрах от Парижа. По пути туда Роза неожиданно предложила: «Феликс, вы наверняка никогда не были в казино. Не хотите попытать счастья? Мы живем рядом, десять минут езды. Пока папа с мамой накрывают стол, мы рванем туда». Я согласился. С этого все и пошло. Моя венгерская кровь взыграла. В последующие поездки в Париж я привозил для сдачи на аукцион Дрюо книги с автографами Дюма, Анатоля Франса, Виктора Гюго… И все франки сгорали в топке одного из немногих французских казино…

Однажды я провел целый вечер за рулеточным столом вместе с Франсуазой Саган, классиком французского романа и

сумасшедшей игроманкой. В подарок получил от нее классное интервью. В романы Саган я был влюблен еще в начале шестидесятых годов. Искренняя, без обиняков, беседа под названием «Я готова сесть хоть к вам на колени» (Франсуаза была весьма сексуальна, известны ее тайные отношения с Франсуа Миттераном, которые происходили в той же квартире, где я брал у нее интервью) стала визитной карточкой всех моих книг-интервью.

– Вы полностью преодолели страсть к рулетке?

– С 1 июля текущего года все, что касается моей казиношной жизни, осталось в прошлом. Разумеется, я не поеду играть ни в Лас-Вегас, ни в Белоруссию, куда переехали мои друзья – владельцы казино. Вся оставшаяся энергия направлена сегодня на книги, на публикации, на устные выступления. У меня почти закончена книга под названием «Мой казиношный роман». Кое-какие главы из нее печатались в прессе у нас и за границей.

– Придерживались ли вы какой-то системы при игре в рулетку?

– По-моему, помочь могут только интуиция и опыт. Еще скажу от себя, что лично мне трудно было иметь дело, если за «штурвалом» стоял дилер с восточной внешностью. Почему-то я никогда не мог его обыграть.

– Вы одобряете, что игорные заведения разрешены только в четырех зонах?

– Я чувствовал, что из этого ничего не выйдет. Надо было просто вынести казино за МКАД. Я бы, например, уже не ездил туда. Ну, может быть, раз в месяц. Одно дело, когда казино рядом с тобой, в соседнем доме – я там, как обладатель золотой карты, и ел, и пил, и ночевал. И совсем другое дело, когда казино за городом.

– А нужны ли нам казино?

– Конечно, нужны, они приносят доход. Я считаю, что наше руководство совершило ошибку. Надо было ограничить посещаемость казино, вывести их за пределы Москвы, но остановить закрытие гемблингов хотя бы на год или два. Не надо было рубить с плеча.

– То есть власти поторопились?

– Безусловно. Разве может быть в краях, далеких от цивилизованных наших столиц, хорошая прибыль? Лас-Вегас пятнадцать, двадцать лет раскручивался, прежде чем стал мировым центром азарта. То же самое можно сказать об Атлантик-Сити. Кстати, мне кажется, что я знаю почти наизусть всю казиношную трагедию автора бессмертного романа «Игрок», возможно, что и столы в казиношном Баден-Бадене не менялись с

той поры.

– Сколько у вас вышло книг?

– Примерно двадцать, несколько из них за рубежом. Кроме того, у меня есть книга стихов, вышедшая в 1959 году. В ней есть и стихи других поэтов, но я все равно считаю ее своей.

– Ваш сын Кирилл Медведев, видно, пошел по стопам отца? Он известный поэт, автор многих книг стихов, издатель. К тому же, как я слышал, участвует в социалистическом движении. Что вы скажете о нем?

Великий колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес – гость «Огонька», куда его все-таки привез Феликс Медведев.

В разговоре с сотрудниками журнала писатель заявил:

> *«Ваша перестройка очень важна и для левых сил латиноамериканских стран. Многие в нее верят. И важно, чтобы вы довели дело до конца. Это будет самым главным событием в современной истории».*
>
> *(Габриэль Гарсия Маркес)*

– Если честно, всего этого я как отец не ожидал от сына. Он рос тихим нормальным пацаном, в начале интересовался

историей, поступил в МГУ на истфак, потому вдруг разочаровался, стал писать стихи и перешел в Литинститут. И впрямь, по отзывам самых авторитетных спецов в области поэзии – Дмитрия Кузьмина, Дмитрия Воденникова, Григория Дашевского, – является «едва ли не лучшим поэтом своего поколения». Недаром он номинировался на престижную премию Андрея Белого.

Знаете, я думаю о каких-то наших общих генах, связанных с дедом – венгерским поэтом и революционером, прибывшим в эмигрантском вагоне из Австрии в СССР в 1922 году. Золтан Партош, по семейному преданию, да и по документам, – венгерский граф. Так вот, дед изменил своему классу, встречался еще до революции с Лениным, участвовал в знаменитой Циммервальдской конференции, сотрудничал, к сожалению, с Белой Куном и был членом Коминтерна. Думаю, что в Кирилле взыграли рисковые гены предка.

Что ж, вся наша жизнь рисковая, но я горжусь своим сыном. И желаю ему одного – не залезть слишком далеко туда, куда не след.

– Что войдет в вашу новую книгу «Мои великие старухи»?

– Однажды, раздумывая о судьбах своих героев, разнообразии и многогранности их биографий, я остановил себя на том, что многие из тех, с кем я общался, – дамы преклонного возраста, у которых «столетие лежит на ладони» (Мариэтта Шагинян). Особенно количество такого рода собеседниц возросло, когда в восьмидесятые годы я стал выезжать за границу и посетил многие страны, где жили русские эмигранты трех волн. Все интервьюируемые мною под диктофон или перед телекамерой рассказывали о своих драматических судьбах, о том, что пережили. Со многими я подружился, некоторым помогал писать воспоминания, с кем-то ездил по свету, получал в подарок как библиофил книги их воспоминаний и фотографии…

В общем, мне посчастливилось тесно и творчески плодотворно общаться с людьми, прожившими на этой земле 80, 90 и даже 100 лет. В иных, сохранивших былую красоту «пиковых дам» я был почти влюблен, а кто-то, как мне казалось, был неравнодушен ко мне.

И вот я подумал: почему бы не объединить под одной обложкой уникальные биографии моих собеседниц, многие из которых – сами талантливые творческие личности, другие – музы, любовницы, жены выдающихся мужчин. Так неординарные дамы, поэтессы, княгини, графини, прожившие яркую жизнь, стали для меня «моими великими старухами».

Жанры, используемые в книге, разнообразны: интервью, эссе,

воспоминания, письма героинь автору книги, небольшие, емкие портреты свидетельниц тех или иных событий прошлого, комментарии к оригинальным фотографиям, рисункам, автографам, выдержки из мемуарных книг.

Почти шокирующее название книги может вызвать недоумение и даже возмущение. Я имею в виду использование по отношению к моим героиням понятия «старуха». Но, как я выяснил, ученые-физиологи определяют понятие старости возрастным периодом, начинающимся после 70 лет. К тому же хочу отметить, что большинство моих героинь с благосклонностью принимают эпитет «великая».

А еще я пишу книгу, название которой не хочу обнародовать заранее. Скажу только, что еще в юности я не случайно бродил вокруг дома Василия Шульгина, чтобы взять у него интервью, наверное, во мне проявились монархические чувства. К тому же еще в семидесятых годах я подружился с такими приверженцами самодержавных устоев, как Илья Глазунов и Владимир Солоухин. Они постоянно говорили при мне на эту тему. Из Кургана я специально прилетал в Свердловск, чтобы только посмотреть на Ипатьевский дом, к которому все тогда боялись подходить. А когда стал выезжать за границу, то первым из советских журналистов объездил многих Романовых и взял у них интервью.

– Вы монархист?

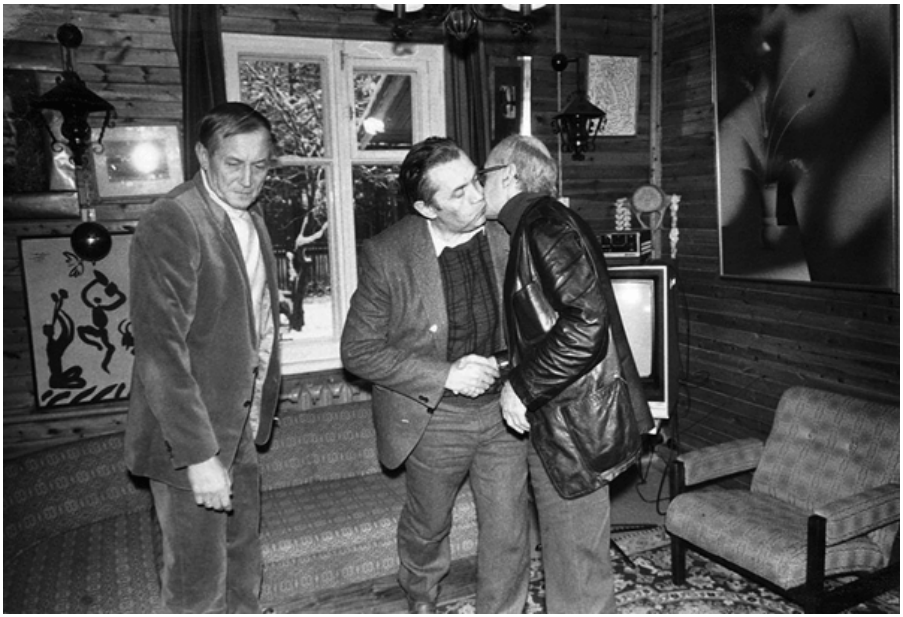
– Да! Поразительно, но, десятки лет проработав в партийной печати, я не был членом КПСС. На меня страшно подействовала трагическая гибель царской семьи. У меня дома много книг на эту тему. Можно сказать, что я ею болен.

– А чем закончилась история с вами, о которой писали все газеты и которой был забит весь интернет?

– Не пугайтесь, банальная для наших времен история. Как озвучила подобные эпизоды одна, я считаю, гениальная политологиня и писательница, «пресс-службы олигархов придумывают дела и делишки, чтобы развести шефа на бабки». Так вышло и со мной. А я, несмотря на свой возраст и вышерассказанную вроде бы хлесткую журналистскую и игроцкую биографию, остался наивным и доверчивым, как в детстве, человеком. Прости их, Господи!

Неубитая юность поэтов

До сих пор не утихает полемика вокруг показанного «Первым каналом» сериала «Таинственная страсть» по роману В. Аксенова. Миллионы телезрителей, воодушевленные актуальной и сегодня темой о личных судьбах и творчестве знаменитых поэтов-шестидесятников, не отходили от экранов в течение двух недель. Фильм вызвал неоднозначные, в основном негативные отклики. Я насчитал более тридцати публикаций-рецензий в прессе на новую работу ТВ. Среди них попадались и откровенно злобные, авторы которых, что называется, «переходили на личности». Так, газета «Культура» назвала героев фильма «обществом мертвых поэтов»… Летом этого года я случайно застал в Переделкине проживающего в основном в США Евгения Евтушенко, с которым давно не виделся. Разговорились, вспомнили нашу совместную работу над поэтической антологией «Русская муза XX века», публиковавшейся в журнале «Огонек», легендарную встречу на даче поэта культовой четверки (Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Окуджавы, Е. Евтушенко), которую я по заданию «Огонька» организовал в феврале 1987 года… Монолог мэтра о жизни «за бугром» и на родине, о современной поэзии, о том, куда и зачем идет Россия, о его семейном счастье, о выходящем том за томом полном собрании сочинений растянулся на целых четыре часа. Я пребывал в обществе абсолютно «живого», мудрого, активного человека, проехавшего в этом году на поезде с поэтическими выступлениями через всю Россию – от Москвы до станции Зима. На прощание Евгений Александрович подарил мне свою новую книгу с неожиданно-ностальгическим автографом: «Феликсу Медведеву – другу моей не убитой во мне юности». Оттолкнувшись от этих строчек, решительно заявляю: несмотря на очевидные художественные изъяны сериала о поэтах-шестидесятниках, их самих «мертвыми» называть абсурдно и жестоко.



Фотография Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Булата Окуджавы на даче Евгения Евтушенко в Переделкино. Фотограф – В. Серов. 1987 г.

…они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: – Спешат твои часы. —
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

(Белла Ахмадулина. 1967 г.)

И были наши помыслы чисты… Об одной встрече спустя тридцать лет

– Только пусть ворота будут открытыми, – попросил один из них.

– Я заказал такси на 12:30, – намекнул другой.

– Мне нужно спешить на заседание комиссии, – деловито произнес третий.

Евгений Евтушенко не торопился: он был гостеприимным хозяином…

Фотокорреспондент «Огонька» Дмитрий Бальтерманц просил на съемку четверть часа. Когда же из тридцатиградусной стужи они вошли в тепло и уют и радушный хозяин стал угощать гостей горячим чаем с вареньем из какого-то экзотического фрукта, когда он включил видеоролик чудом сохранившейся у него киноленты снятого четверть века назад поэтического вечера и все сразу же впились в экран, ведь на экране были именно они, я понял: разговор состоится. Не дождавшись пассажира, вернулось в Москву заказанное такси, ворота еще долго оставались открытыми, официальное заседание комиссии прошло без одного из ее членов.

Зато щелкали затворы фотокамер, крутились магнитофоны, не умолкала речь. Как захватывающе интересно было просто на них смотреть и слушать их, родившихся в тридцатых, начинавших писать стихи в сороковых, издавших первые сборники в пятидесятых, ставших всемирно известными в шестидесятых, вошедших в школьные хрестоматии в семидесятых, выпустивших собрания сочинений в восьмидесятых! Одним словом, не обижая других замечательных поэтов – их ровесников и современников, мне захотелось поговорить именно с ними, с теми, кто, наверное, чуточку больше, чем кто-либо другой из их поколения, был любим публикой, читателями. Да, именно они: Андрей Андреевич Вознесенский, Евгений Александрович Евтушенко, Булат Шалвович Окуджава, Роберт Иванович Рождественский – были ярчайшими звездами на небосклоне русской поэзии пятидесятых годов. Тех лет, о которых очень точно сказал Леонид Мартынов: «Удивительное мощное эхо! Очевидно, такая эпоха».

Та очистительная эпоха, когда всех волновали по-новому зазвучавшие понятия: «свобода», «правда», «справедливость»,

«совесть».

В чем-то сегодняшняя атмосфера совпадает с той эпохой.

Более полно мы вдыхаем очистительный озон уже нашего времени, и искусство распрямляет крылья, очищаясь от затхлости, примитива, равнодушия и конъюнктуры.

…Взгляните на фотографию: как умиротворенно беседуют гости, собравшиеся в Переделкине. Можно подумать, что, повстречавшись под парусами времени тридцать лет назад, они и не расходились. А ведь между ними пролегло многое: разность судеб, личные трагедии и взлеты, неустойчивость читательских вкусов, трансформация их собственных взглядов. Тридцать лет прожить рядом, друг возле друга, любя, ревнуя, гордясь, огорчая и огорчаясь, – не поле перейти. И пусть не вместе, не за одним столом, но съедено ими всеми по пресловутому пуду соли, соединившему их судьбы навсегда. Иначе и быть не могло: ведь все они самоотверженно преданы главному в их жизни – поэзии, искусству, слову.

А если что не так, то пусть их рассудит будущее. За то, что уже сделано, и за то, что осталось сделать. А пока…

А пока я прошу их оглянуться назад – сейчас это модно: «ретровзгляд», «ретроспектива», и не надо останавливать мгновение, пусть минуты этого «вместе», возможность неожиданного общения объединят их воспоминания-размышления с раздумьями наших читателей о судьбах поэзии и поэтов.

Ведь со времени их пылкой молодости прошло тридцать лет.

Какими они помнят себя по отношению друг к другу, к литературе, к жизни?

Что осталось в них от тех, тогдашних?

Они изменились, но в чем?

Они изменились или их изменило время, обстоятельства, возраст?

Пытались ли они изменить время?

Когда-то один из них сказал: «Нас мало. Нас может быть четверо».

Они и сегодня так считают?

Видятся ли им новые четверо в сегодняшней поэзии?

А кто из тогдашних живых поэтов влиял на них? Ведь это интересно – помогал им, «ставил голос».

Кому они помогли (словом, напутствием, выпуском книги, иной поддержкой) из нынешних молодых?

Оправдано ли было их, «мэтров», участие в творческих судьбах дебютантов?

Чем объяснить, что они изменили основному жанру и

вторглись в сопредельные искусства: кино, телевидение, музыку, песенное творчество, серьезную прозу? Что это – попытка нового опыта, хобби, неизбежность?

А вокруг другое «тысячелетье», но в чем-то и похожее на то, когда они были молодыми. Чувствуется ли прилив новых сил, желание творить, или материал уже исчерпан, и, как говорили Серапионовы братья, встречаясь друг с другом, «писать, брат, очень трудно»?

Включаю диктофон.

Андрей Вознесенский
«Мы были тощие. И уже тогда ничего не боялись»

Все мы тогда распевали Окуджаву. Он не написал еще песенки про дураков, но они считали его песни опасными. Белла Ахмадулина водила «Москвич», ее фарфоровый овал светился музыкой. Е. Евтушенко, сияющий первым в Москве нейлоновым костюмом, и Р. Рождественский в лыжном свитере с выпущенным воротником пламенно читали с эстрады смелые гражданские стихи. Вижу не только их, но и Ю. Мориц с ее страстной библейской нотой, над головой обрубки кос встают от гнева, геолога Г. Горбовского, Е. Винокурова с олимпийским портфелем, тончайшего гравера А. Кушнера, облученного солдата В. Соснору. Вернулся из мест отдаленных гусляр В. Боков. У Б. Слуцкого были фигура и слог римского трибуна, за ним чувствовались легионы.

Моя дружба с ними выразилась в стихах и статьях, им посвященных. Гласности в нашем понимании тогда не было. Попытка сказать правду о жизни и искусстве клеймилась как очернительство, с особенной злобой воспринималась эстетическая новизна. Строчка над сценой Театра на Таганке: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» – воспринималась чиновниками как крамола. Сейчас трудно поверить, что стихи «Бьют женщину» много лет назад нельзя было опубликовать. Газетная брань по моему адресу и моих товарищей была небезобидной. Переставали печатать…

Многие стихотворные строки тогда пробивались кровью.

Изменили ли мы время? Конечно. Но мы тогда не думали об этом.

Время расставляет свои акценты, отделяя нас теперь друг от друга. Видимся раз в году. Но и тогда мы были разные. Вопреки легенде, мы не так часто выступали вместе. Аудитории у нас были разные, да и жили мы каждый по-своему. Общими у нас были враги. Их нападки сплачивали нас. Общими были страсть страны, воздух надежд, люди, верящие в нас.

Поэты, заявившие о себе в шестидесятых годах, пожалуй, лучшие свои вещи написали в семидесятых и восьмидесятых. В них сказалась боль от крушения иллюзий. Деление на поколения в поэзии механистично. В те годы я написал о поколениях – «горизонтальном» (по возрасту) и «вертикальном» (по совести и таланту). Эти слова о «вертикальном» поколении процитировали, чтобы вывести из себя Н. С. Хрущева на злополучной встрече с

интеллигенцией в Кремле. Он потребовал меня на трибуну. Прервав мое выступление, подняв кулаки, обрушился на меня под организованный скандеж зала. За ним была могучая сила, и я не мог понять, как в одном человеке сочетались и добрые надежды шестидесятых годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления. Когда я читал стихи, отбивая ритм правой рукой, он закричал: «Вы что руку подымаете? Вы что нам указываете? Вы думаете, вы вождь?». Н. С. Хрущев, уже будучи на пенсии, передал мне, что сожалеет о том эпизоде и о травле, которая за этим последовала. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.

Изменило ли нас время? Еще бы! Хотя уже тогда можно было угадать, кто как изменится. Тут уж совсем неуместно слово «мы». Каждый должен сам сказать о себе. В моей памяти все осталось подобно дружбе одного двора или одноклассников. Как Андрей Тарковский, с которым мы учились в одном десятом классе 554-й школы и гоняли во дворе консервную банку. Страшно, что его уже нет среди нас. Как много не удалось сделать!

На даче Евгения Евтушенко в Переделкино. 1987 г.

Сейчас кажется, что можно было бы сделать больше. Наивным кажется юношеский максимализм – понятный правде. Я четырнадцать лет общался с Пастернаком, боготворил его, шел за его гробом, и естественно, что влюбленность в него не позволяла

видеть других поэтов. Да и кого можно было поставить рядом с ним? Много занимался поэзией как таковой, считая стихотворение вопросом, а не ответом. Публицистики у меня было мало. Стихотворение – это духовный микрокосм, духовная форма. Обидно, что порой не хватало характера отстоять каждое слово и столько строк покалечено. Дубины не сбили с пути, но, увы, отбили душу.

Горше, когда ты, как сказал В. Ходасевич, о котором мне недавно довелось писать в «Огоньке»:

…На трагические разговоры
Научился молчать и шутить…

Впрочем, может, это просто иронический стиль восьмидесятых годов?

Недавно мне радостно позвонили, что вышел первый диск Гребенщикова. Хорошо, что публикация в «Огоньке» открыла дорогу «Аквариуму». Многие из поэтов, чьи имена названы в «Муках музы» и других моих статьях, оправдывают надежды, ныне к ним хотелось бы прибавить имена Арабова и Искренко. Рекомендую «Огоньку» напечатать их стихи.

На днях ко мне подошел поэт, когда-то заведовавший отделом поэзии в издательстве «Советский писатель»: «Сейчас все оказываются друзьями Высоцкого, везде его печатают, но, когда он еще был жив, только ты единственный приносил рукопись его книги стихов, пытался пробить. Жаль, тогда не удалось». В то время не только книгу – строку его нельзя было напечатать. Железобетонная стена. Глядишь, вышла бы книга, может быть, он жив остался.

Владимирский поэт Н. Ф. Тарасенко помог мне издать «Мозаику». В. Солоухин помог опубликовать мою первую поэму, «Мастера». Э. Межелайтис, понимая, чем ему это отольется, не глядя подписал в печать «Треугольную грушу». Самоотверженный Андрей Дементьев взял на себя публикацию поэмы «Северная надбавка» Евтушенко; он печатал важные для меня вещи, в том числе поэму «Ров».

Независимо от возраста люди «вертикального» поколения помогают мне. И я в меру сил помогаю людям «вертикального» поколения. Всю жизнь везде, где можно, пишу о Пастернаке. Мне удалось впервые опубликовать его стихотворение «Гамлет» из «Доктора Живаго». Трудно представить, что миллионы моих сверстников не знали его имени, хотелось бы хоть немножко пододвинуть поэзию Пастернака к ним. Помощь озеру, шедевру архитектуры, публикации мастеров, о которых годами молчали,

заботы о наследии Шагала – все это, думаю, помогает и атмосфере творчества молодых. Сейчас находит поддержку мое предложение, высказанное на съезде писателей: о кооперативном издательстве. Может, оно, как свежее начинание, поможет молодым.

У нас ежегодно печатается 84 тысячи названий книг. Несколько книг Набокова, Ходасевича, Гумилева обеспечат полноту картины отечественной литературы XX века. Наши современники имеют право читать все. Какой может быть общечеловеческая глубина литературы без философской мысли? Философия должна изучаться не на уровне отрывного календаря. Забытыми пребывают такие ветви русской мысли, как мучительные раздумья Шестова о Достоевском, «биологика» Розанова, труды В. Соловьева, Флоренского, Чижевского. Их полезно бы издать академическими тиражами, хотя бы для просвещенных и посвящаемых в философию. Чтобы полемизировать, нужно знать источник.

В архитектурном институте я профессионально учился рисунку, живописи, проектированию, сопромату, истории искусства.

Для меня поэзия не хобби, не профессия, а судьба. Когда я писал первую поэму о казни создателей храма Василия Блаженного, я знал по рассказу Жолтовского, что шедевр этот случайно не взорвали в тридцатых годах, знал я и о судьбе ученого-реставратора Барановского. Так что поэма не только об истории архитектуры, о судьбе народной, но и о моей судьбе. Надо быть человеком Ренессанса, открывать в разных сферах, сейчас время духовного синтеза. Во всем пытаюсь найти что-то новое, свое в автолитографиях, архитектурном проекте Поэтарха, рок-опере.

Спасибо шестидесятым годам за духовный подъем, за то, что освободили и реабилитировали людей. Это главное. Но фильм «Покаяние» тогда не только выпустить, но даже снять было бы невозможно. Возможны ли были последние острые публикации в «Московских новостях»? Все вещи нашего печатного Ренессанса глухо лежали тогда в столах. А разве возможен был исповедальный писательский съезд? Наивно думать, что все решено. Идет ежесекундная борьба с еще очень сильным, реакционным слоем нашего общества.

Но главное – свобода не вне, а внутри человека. У художника – это свобода выразить себя и время по-своему, как ни Толстой, ни Блок не выражали. Как говорили философы, «в свободе скрыта тайна мира». Поэзия занимается общечеловеческими ценностями. Поэзия – это прежде всего внутренний мир человека. В ней

главное – человечность.

Минувшей осенью я отказался от интересных зарубежных поездок: дома дел много, многому можно помочь. Происходит преодоление косности, и здорово, что результативно. Политически это называется демократизация. Поступок – это тоже поэзия. Глаза страшатся, а руки делают…

Поэзия рождается непредсказуемо. Ее нельзя организовать. В XX веке гребни творческих духовных взлетов приходятся на каждые двадцать лет: двадцатые годы, сороковые – роковые, шестидесятые, восьмидесятые.

Одна из нынешних моих забот – комиссия по наследию Пастернака. Пытаемся основать музей на его даче в Переделкине – «трудно, брат, но нужно», восстановить доброе имя великого поэта, снять с него клеймо исключенного из Союза писателей. В Переделкине могли бы проходить Пастернаковские чтения, как наши, так и международные. Нужно целиком опубликовать все его произведения, в том числе поэтичный роман «Доктор Живаго». Это нужно не только для того, чтобы восстановить историческую справедливость, а для создания атмосферы нашего сегодняшнего искусства, для создания новых произведений по искреннему, как говорил В. Шкловский, «по гамбургскому счету», чтобы легче было новому «юноше бледному, со взором горящим».

Какие стихи шестидесятых годов я повторил бы сегодня? На вечерах меня просят почитать «Порнографию духа», «Очередь». И сегодня повторю: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

Андрей Вознесенский
Песня акына

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему, он до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и он.

1971 г.

Слева направо:
поэты Михаил Светлов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко на вечере поэзии в Политехническом музее. 1964 г.

Андрей Вознесенский
Не возвращайтесь

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты —
как домик убранный,
где они жили немного лет.
Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи – правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.
Два эха в рощах живут раздельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.
А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:
«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ…»
А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:
«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет…»
Но вы не выслушаете совет.

1978 г.

Андрей Вознесенский
Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю, —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я – другие.
Упаду на поляну – чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет.
Но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто-то тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья – подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.
Все из пластика, даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка…

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты – в прошлом.
В настоящем – рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь – пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по-настоящему,
что настанет. Да не застану.

1976 г.

Евгений Евтушенко

«Я начинал как волчонок-одиночка»

В детстве и ранней юности у меня не было ровесников, которые писали бы вровень со мной. Я всегда тянулся к старшим – к отцу, который научил меня любить стихи, затем к Николаю Тарасову, напечатавшему меня впервые в «Советском спорте» 2 июня 1949 года, и первый гонорар я получал по метрике. К критику В. Барласу, к Льву Филатову (впоследствии ставшему блестящим футбольным обозревателем). Они мне открыли Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Б. Корнилова и П. Васильева. Естественно, я подражал взрослым, в своих стихах стараясь казаться старше. Уже в четырнадцать лет я писал так:

Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.
Я их не упрекал в такой забывчивости —
Ведь я и сам их часто забывал.
Лишь только ночь уюта и отзывчивости —
Я больше ничего от них не ждал.

Поэт Андрей Досталь, работавший литконсультантом в «Молодой гвардии», которому я послал эти стихи, вызвал меня письмом и несказанно удивился долговязому пацану со школьным портфелем.

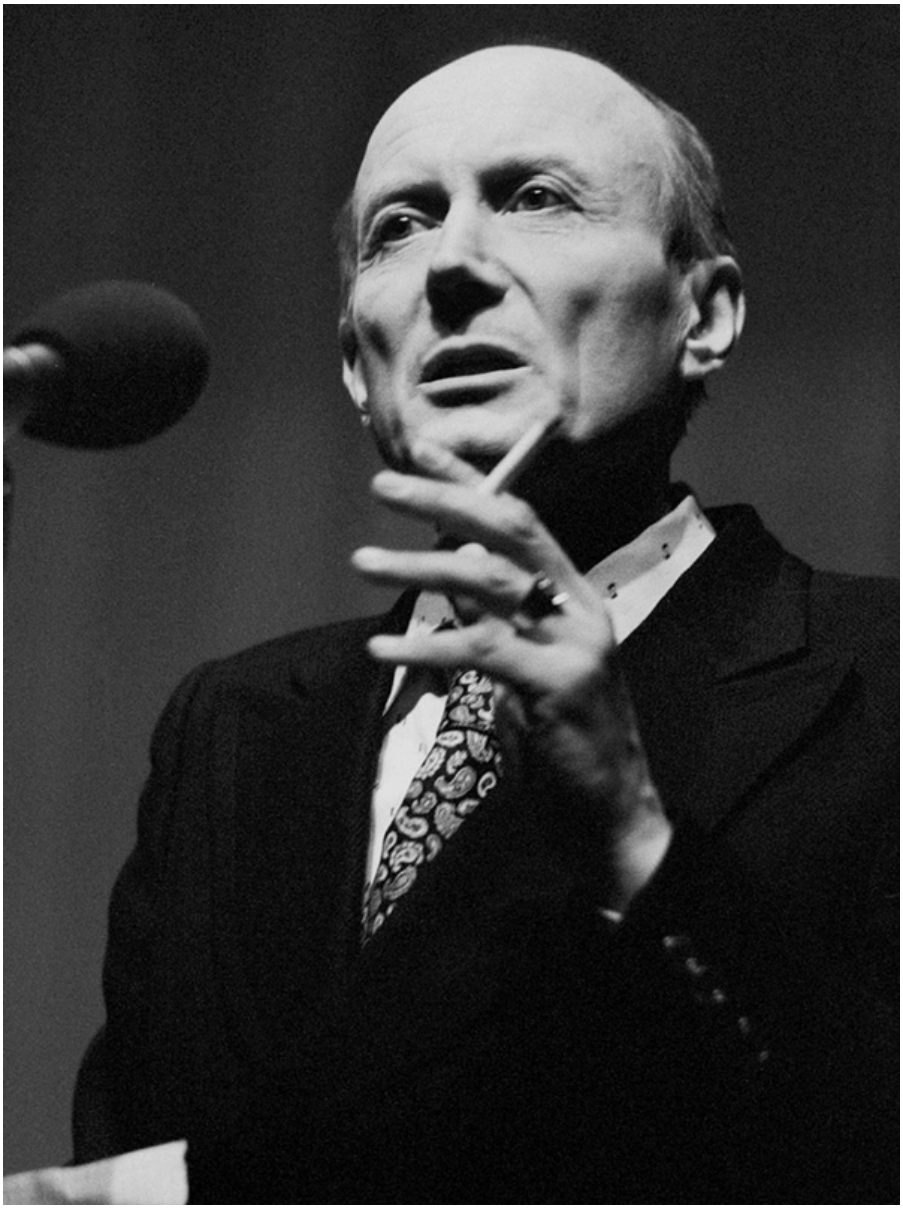
– Мальчик, почему твой папа не пришел сам за своими стихами?

Я запунцовел:

– Это не папины стихи, а мои…

Собственная жизнь мне казалась неинтересной, поэтому я и придумывал себе взрослую. Ровесники тоже казались неинтересными. Я наращивал поэтические мускулы, играя рифмами, как гантелями. Ходил на все вечера поэзии и «перебаливал» всеми влияниями – от Кирсанова до Луконина. Подружился с Винокуровым, Межировым, Слуцким. С Владимиром Соколовым; он был тоже старше меня, но уже не намного – словом, был самым молодым другом из всех моих старших друзей. Соколов был первовысказывателем поколения, увидевшего войну глазами детей: «Четвертый класс мы кончили в предгрозьи, из пятого мы перешли в войну». Я думаю, он был потенциально талантливее всех нас – и все мы это беспрекословно признавали. Это «мы» начало постепенно

складываться. Первым моим ровесником, с которым я счел достойным дружить, был Фазиль Искандер. Он жил, правда, особняком, как, впрочем, и сейчас, но всегда учитывался в нашем поколении. Костяк нашей «могучей кучки», образовавшейся вокруг Литинститута в 1952 году, это Соколов, Рождественский, безвременно погибший Володя Морозов и я. Мы зачитывали друг друга стихами собственными и чужими, вместе выступали. Все мы, кроме Соколова, писали еще плохо, но, боясь сурового мнения товарища, подтягивались, соревновались. О, какое это было великолепное чувство – боязнь мнения товарища! Сколько эта боязнь дарует, от скольких болезней – и в первую очередь от самомнения – она вылечивает! Так я, оказавшийся в Литинституте уже широко печатаемым в газетах, очутился под градом целебнейших дружеских издевательств и постепенно начал вылечиваться от газетщины под не лучшего Кирсанова. Поворотными моими стихами стали «Перед встречей» (написанное под влиянием Соколова), «Вагон», «Море». Я понял, что и моя собственная жизнь, и жизнь окружающих людей гораздо интереснее, чем все вычурные фантазии. Автором всех этих переломных стихов, а затем «Свадеб», «Со мною вот что происходит», которые и сделали меня поэтом из стихотворца, был не столько я сам, сколько взыскательно воспитующая среда. Говорю без идеализированного преувеличения: нас выковывало не беспринципное чувство «стаи», а прежде всего любовь к поэзии, соединенная с любовью друг к другу.



Евгений Александрович Евтушенко (фамилия при рождении – Гангнус, 1932–2017) – советский и российский поэт.

Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист, чтец-оратор и актер.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

(Евгений Евтушенко. 1965 г.)

В нашей среде не было ни зависти, ни подсиживания, ни взаимопроталкивания, что, к сожалению, характерно сейчас для ряда начинающих. Смерть Сталина нас еще больше соединила, потому что мы и плакали вместе, но и вместе мучительно задумались, когда постепенно приоткрывшаяся со смертью Сталина завеса над прошлым ставила нас лицом к лицу со столькими человеческими трагедиями. Кое-что мы знали и раньше, но под гипнозом воспитания не могли осознать явлений в их совокупности. В день смерти Сталина арестовали одного из наших преподавателей – поэта А. Коваленкова. Мы с Соколовым потрясенно обсуждали это и, по закону нашего воспитания, выискивали в нем черты «врага», вспоминали то одну, то другую его фразу, теперь, после ареста, начавшую казаться подозрительной. И вдруг Володя резко сказал мне:

– Какие мы с тобой сволочи… Вместо этого надо поехать к его жене… разделить ее горе.

Так мы и сделали. Коваленкова через несколько месяцев освободили. Жизнь менялась. Гипноз постепенно ослабевал. Студенческий курс первого послесталинского года был уже совсем другой, чем мы, – более раскованный, радикально настроенный и удивительно талантливый: Белла Ахмадулина, Юрий Казаков, Михаил Рощин, Юнна Мориц. Слово «мы» начало расширяться. Приехавший в Литинститут тогдашний секретарь Союза писателей Сурков, разнося в своем выступлении первую антибюрократическую ласточку – роман Дудинцева, кричал, показывая на свежевыбеленную институтскую стену: «Вот видите – на этой стене пятно. Если я, как Дудинцев, уткнусь носом в это пятно, тогда она вся будет казаться мне грязной…». Еще совсем юный Рощин спокойно возразил ему под наши общие аплодисменты: «Да, но если отойти слишком далеко, то тогда пятна совсем не будет видно…». Сурков уехал, грозно бурча, что Литинститут – это рассадник нигилизма… Но мы не были нигилистами. Мы были полны веры в то, что жизнь надо перестраивать – дальше так жить и писать нельзя. Тогдашний Литинститут действительно был рассадником, но не нигилизма, а гласности и демократии – будущей перестройки. За это по головке не гладили. Меня исключили из Литинститута с формальным объяснением «за непосещение лекций», а на самом деле за то, что я защитил Дудинцева. Ахмадулину и Мориц тоже исключили, правда, временно, только за то, что они в объявленный «День открытых душ» слишком открыли свои души.

Но мы все равно держались вместе, хотя нас и разъединяли, как могли, и хотя мы сами иногда крупно ссорились друг с другом. Но какие это были замечательные ссоры! В них не было ничего мелкого, междоусобного – это были ссоры-споры, и споры не по пустякам, а по главным, принципиальным вопросам – по отношению к истории революции, к стране, к роли искусства. Во многом мы были наивны, необразованны, нам не хватало порой тонкости вкуса, многослойности мышления. Но зато нас нельзя было упрекнуть в иждивенчестве, в социальном равнодушии, в инертности, в потребительском «вседолампочкизме». Если бы тогда кто-нибудь в нашей компании рассказал бы пошлые анекдоты о Чапаеве и Петьке, он схлопотал бы по морде. Но в Литинституте были и посредственности, угрюмо завидовавшие тем, кто старался двигать время и искусство вперед. Окончательный раскол произошел во время «дела Пастернака», когда ряд студентов, шантажируя исключением из комсомола и из института, требовал подписей под письмом, где заявлялось, что Пастернака надо вышвырнуть, как свинью, из нашего советского огорода. Некоторые вчерашние «прогрессисты» сломались, подписали (да еще испросив разрешения у самого Бориса Леонидовича). Потом они деградировали и как поэты. Их имена, когда-то шумевшие в студенческих аудиториях, сейчас не помнит никто.

Маяковский в своем футуристическом манифесте когда-то уподобил слово «мы» глыбе, на которой стояли он и его соратники среди свиста и негодования. Наше «мы» тоже было такой глыбой, и с этой глыбы многие соскальзывали. Но на нее поднимались и новые соратники. Так появился Вознесенский, ворвавшийся в поэзию, в отличие от многих из нас, сразу – с молниеносностью фейерверка. К этому «мы» принадлежит и Булат Окуджава. Хотя он и старше нас по возрасту и даже успел повоевать, но как поэт зазвучал в то же время. Саша Аронов, Нина Белосинская из замечательного литобъединения «Магистраль» однажды спели мне одну из первых песен Окуджавы, и я был ошеломлен – настолько романтическая чистота этих безыскусных, но в то же время тонких, умных песен соответствовала нашим надеждам. Что нового внесли поэты-шестидесятники в нашу жизнь? Первое – резкая антикультурная направленность. Она была общей для всех нас, несмотря на разницу индивидуальностей. Второе – «детабуизация» всех тем, на которые были наложены писаные или неписаные табу. Третье – отвращение к «барабанному» патриотизму, к национальной ограниченности. Четвертое – новый поэтический язык, включавший свежую ассонансную рифмовку, поиск новых ритмов,

метафор, интонаций, безбоязненное употребление современных, даже подчас жаргонных оборотов, так называемых «непоэтических» слов. Пятое – расширение поэтической аудитории до площадей, заставившее читать стихи даже тех, кто их раньше не читал. Шестое – триумфальный выход русской поэзии на международную арену.

Разумеется, названными именами русская поэзия нашего времени не ограничивается. Она непредставима и без ушедшего безвременно Рубцова, и без многих других. Но характерно вот что: первые стихи Рубцова в Москве были напечатаны с моей помощью в «Юности», и у нас были с ним самые теплые дружеские отношения, но после его смерти некоторые критики неэтично начали сталкивать его и меня лбами. В ряде критических анкет в перечне ведущих поэтов имена Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы, Рождественского высокомерно не упоминались, а им противопоставлялись длинные обоймы других имен. Была изобретена фальшивая групповая теория «тихой», то есть якобы настоящей, поэзии и «эстрадной», то есть псевдопоэзии. Пример профессиональной этики показал Владимир Соколов, объявленный лидером «тихой поэзии», когда он осудил такое противопоставление.

Интерес к поэзии, упавший в годы торжества лакировочных тенденций, небывало возрос. Поэтические книги, раньше залеживавшиеся на прилавках, стали мгновенно расхватываться, начали становиться даже предметом спекуляции на книжном «черном рынке». Тиражи с пяти– или десятитысячных стали подниматься до стотысячных или выше. Издательство «Молодая гвардия» впервые в нашей издательской практике решило начать выпуск дешевых небольших книжечек стихов, исходя из предварительных запросов магазинов. Римма Казакова набрала, если мне не изменяет память, что-то около четырехсот тысяч заявок. Но когда дело дошло до имен Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы и автора этих строк, то издательство растерялось, получив миллионные и двухмиллионные заявки, и не нашло ничего лучшего, чем прекратить эту серию, так как именно эти поэты беспрестанно атаковались тогдашней «Комсомольской правдой» за «поэтическое гусарство», «пошлость на эстраде» и даже за «несмываемые синяки предательства».

Но вкусы молодежи шли вразрез со вкусами этих критиков, и своей любовью наши читатели верно поддерживали нас в самые трудные минуты. Наше поколение раздражало своей неуемной активностью, вмешательством во все наболевшие вопросы, и раздражение это выплескивалось порой даже на самом высоком уровне. Вознесенскому кричали: «Забирайте свой паспорт и

убирайтесь, г-н Вознесенский!». Это неправда, что нам слишком много было «позволено», – свои права мы не «качали», а вырывали, иногда обдирая до крови руки.

Наша популярность раздражала и многих наших собратьев по перу. На ленинградском совещании один поэт заявил с ядовитой иронией: «Евтушенко жалуется в своих стихах, что ему, видите ли, „мешают границы“… Давайте пошлем его за границу – пустите Дуньку в Европу!». Ну что ж, спасибо ему за рекомендацию. «Дунька» с той поры побывала в 85 странах мира, и, положа руку на сердце, могу сказать, что с честью несла знамя нашей русской поэзии. Когда Роберт Рождественский написал стихи «Да, мальчики…», утверждающие право молодежи на самостоятельность, Николай Грибачев немедленно ответил ему стихотворением «Нет, мальчики». Но неправильно было бы утверждать, что поддержку мы получали только в читательской, а не в профессиональной среде. Без поддержки профессионалов мы бы не выжили. Великое дело сделал для нашего поколения и для развития поэзии в целом Степан Петрович Щипачев, предоставлявший нам страницы журнала «Октябрь». Когда меня не пускали за границу как «морально неустойчивого», Степан Петрович пошел в высокую инстанцию и сказал, что ручается за меня своим партбилетом, выданным ему в годы гражданской войны. Щипачев сформировал президиум Московской писательской организации наполовину из молодежи, включив и меня, и Вознесенского. Но наш президиум просуществовал всего несколько месяцев – он был антидемократическим путем разогнан. Нас поддерживали и словом, и помощью П. Антокольский, К. Симонов, М. Луконин, Б. Слуцкий, А. Межиров, М. Львов, Е. Винокуров. Сколько нервов стоило Я. Смелякову, назначенному редактором моей поэмы «Братская ГЭС» (с хитрой целью заставить пойти меня на уступки), пробивание этого моего многострадального детища! В поэме было сделано 384 (!) поправки, но тем не менее она не рухнула, не закосилась в сторону лакировки. Мужественное решение принял В. Косолапов, напечатавший «Бабий Яр» в «Литгазете». Твардовский, несмотря на его ревниво-придирчивое, а иногда мучительно-жесткое отношение к поэзии, доходившее порой до пуризма, постоянно печатал меня даже в самые трудные минуты. Весьма далекий от меня по своим позициям Е. Поповкин в нелегкий момент одной из моих глубоких опал неожиданно предложил мне напечатать стихи в журнале «Москва», что и сделал (кстати, он же напечатал и роман «Мастер и Маргарита», не принятый Твардовским). Ю. Мелентьев и В. Осипов, стоявшие во главе издательства «Молодая гвардия», печатали и меня, и Вознесенского, и Рождественского,

что им было совсем нелегко.

Фотография Феликса Медведева и Евгения Евтушенко за работой над антологией «Строфы века», составленной на основе постоянной рубрики журнала «Огонек» «Русская муха XX века», вел которую Евгений Евтушенко.

> *«…Я начал составлять мою первую антологию „Строфы века“ еще в шестидесятые годы в, казалось бы, безнадежные времена первых диссидентских процессов, охоты за самиздатом. Я хотел впервые воссоединить так называемых „белых“ и „красных“ – не как врагов, а как просто поэтов, просто русских под одной обложкой…»*
>
> *(Евгений Евтушенко)*

Поддержка нашего поколения исходила и от многих тогдашних работников ЦК КПСС.

Традиционную поддержку русской поэзии в ее нелегкие моменты оказывала своей любовью Грузия. Крупной поддержкой было само существование театра «Современник», Театра на Таганке, плеяды молодых художников и скульпторов, разделявших с нами наши поиски правды и методов ее выражения. Легче, надежнее становилось от появления таких

фигур, как Шукшин, Высоцкий, от нравственной гражданственности старших – М. Ромма, К. Паустовского, К. Чуковского, А. Яшина. Мне и Вознесенскому повезло – незадолго перед смертью нас успел напутствовать Пастернак. Если первой нашей аудиторией было в основном студенчество, то мы потом начали ощущать поддержку и серьезных ученых, и космонавтов, и рабочего класса. Мы постепенно переставали быть выразителями только своего поколения, и нашими читателями, поверившими в нас, становились и новые студенческие поколения, и люди гораздо старше нас.

Гласность, становящаяся нормой нашей жизни, не была нам преподнесена с неких «верхов» на блюдечке с голубой каемочкой. Мы эту гласность выстрадали. Демократизация поэзии началась раньше демократизации жизни в целом, была ее неотъемлемой составной частью.

Во многих зарубежных странах общественная жизнь и поэзия существуют, как бы не пересекаясь. Но когда-то я написал: «Поэт в России больше, чем поэт», и это правда, ибо ни в одной стране нет, начиная с Пушкина, такой общественной мощи поэтического воздействия, как в нашей стране. Поэзия у нас не только отражает жизнь, но и во многом ее духовно предопределяет.

Меня поражает порой социальная индифферентность некоторых молодых поэтов. Ведь на самые острые темы, связанные сегодня с борьбой против саботажа перестройки, с борьбой за демократизацию, пишут не они, а опять-таки мы, «шестидесятники». Формула «все в мире лишь средство для сладкопевучих стихов» не выжила. Попытка подменить на знамени нашей поэзии Пушкина на Фета тоже не выжила. Фет при всем своем мастерстве лишен гражданского всеобъемлющего темперамента. А без такого темперамента, без способности «всеотклика» (выражение Достоевского) не может быть подлинно национального поэта. Сегодня подлинным национальным поэтом нельзя быть и без интернационализма, без ощущения кожей всех болевых точек земного шара.

Поэзия констатации не будет выше поэзии протеста против несправедливостей, поэзии борьбы за утверждение братства людей. Когда сегодня некоторые поэты жалуются на снижение тиражей своих книг, сваливая всю вину на книготорг, они правы лишь частично. Но разве поэзия нашего поколения, которую днем с огнем не найдешь на прилавках, обладает какой-то особой комплиментарной рекламой? Единственная реклама, которую мы получали в ранней молодости, – это была ругань. Песни Окуджавы в течение многих лет звучали только в самодельных записях. Единственный большой однотомник Ахмадулиной до сих

пор издан только в Грузии. Высоцкий при жизни так и не держал в руках своей книги. Шукшину так и не удалось снять «Степана Разина».

Критики когда-то писали, что интерес к нашей поэзии – это мода и она скоро пройдет. Но прав был Слуцкий, сказав, что если мода не проходит в течение стольких лет, то это, может быть, не мода, а любовь. А право на любовь надо заслужить. Некоторые поэты хотят комфортабельной жизни – они не хотят ни за что бороться (за исключением самих себя), никогда не рискуют головой за дело справедливости, не проявляют никакой гражданской смелости, а потом еще удивляются и негодуют, почему их книги не раскупаются. Так уж повелось на Руси, что в понятии нашего народа поэт – это народный защитник. Почему народ должен интересоваться теми, кто не интересуется им? Есенин гениально писал о березках. Но сведение темы Родины до посредственных воздыханий о березках современных виршеписцев – это гражданское бегство от стольких ножевых проблем реальной, а не сусально-святочной родины. Я не идеализирую наше поэтическое поколение. Все мы писали иногда и, к сожалению, пишем плохие стихи – поспешные, со вкусовыми сбоями, а иногда и те, за которые бывает потом стыдно, да поздно – что написано пером, не вырубишь топором. Мы совершали не только смелые поступки, но и шли на компромиссы. Иногда отмалчивались – а это тоже компромисс. Но каждый из нас не в меру своих сил старался искупить минуты слабости новыми бросками на крепость косности, общественного застоя.

Мы сформировались духовно и профессионально во время общественного катаклизма, когда в стенах этой крепости образовались бреши. Мы проникли в эту крепость и продолжали вести нашу войну, иногда разъединенно, слыша на отдаленных улочках выстрелы товарищей. Бреши искусно замуровывались, отсекая нас от поэтической молодежи. Вырывали вокруг крепости ров, заливая водой, чтобы следующему поколению стало невозможно прорваться к нам на помощь. Мы смертельно уставали, патроны и силы кончались. Над нашими головами начали кружиться иностранные вертолеты, гостеприимно сбрасывая заманчиво покачивающиеся над нашими головами веревочные лестницы. Но по ним карабкались только слабые, обменявшие борьбу за свободу в своем Отечестве на радиостанцию «Свобода». А мы не сдались, мы верили, что день, когда наши надежды станут явью, придет. Нет, не напрасно мы срывали наши глотки в дискуссиях и на эстраде, которая была для нас полем боя за этот день. Сегодня к управлению многими сферами нашей жизни приходят те люди, которые когда-то

студентами слушали наши стихи, прорываясь в залы без билетов. Наша поэзия, наши надежды стали частью психологии этой новой формации. Мы росли и развивались вместе с ними, помогали, как могли, своими стихами, чтобы наша страна стала на путь гласности, без которой немыслима экономическая перестройка. Эта новая формация – поколение не запятнанных трагедиями прошлого. Такая биография дает возможность нового мышления, освобождаемого от комплекса вины. Конечно, мы постарели, но мы еще многое должны досказать, доделать. Мы должны бороться за дело надежд нашей молодости и помочь воспитанию тех, кто заменит нас. Мы, конечно, изменились, но не изменили нашей молодости. В решениях XXVII съезда партии и в проводимой сегодня линии мы с радостью видим многие наши осуществляющиеся надежды.

Мы иногда ссорились, и даже, к сожалению, надолго. Но на съезде писателей мы снова выступали плечом к плечу, как когда-то, и это не было групповым сговором, а было естественно, как сегодняшнее развитие истории.

И вот впервые за много-много лет мы собрались вместе в Переделкине и смотрели на видео чудом уцелевший эпизод из хуциевского фильма «Застава Ильича», когда-то вырезанный, где мы в 1962 году читаем стихи в Политехническом. Я смотрел на эти кадры, и, ей-богу, мне захотелось плакать…

Когда-то я написал такие строки: «Быть со старым товарищем – как вернуться на Родину». Такое чувство у меня сегодня.

Евгений Евтушенко
На «хвосте»

Андрею Вознесенскому

Хотел бы я спросить Андрюшу,
а помнит ли сегодня он,
как мы с ним жили душа в душу
под звуки собственных имен.
Они в божественном начале,
не предвещающем конца,
так упоительно звучали
в метро, в общагах, у костра.
Встречали нас в таком восторге
в Москве ветровки, гимнастерки,
и джинсы рваные в Нью-Йорке,
где тоже ждали перемен
веснушки, как глаза колен.

В стихах был свежий привкус утра,
а имена гремели столь
неразлучаемо, как будто
свободы сдвоенный пароль.
Но та свобода двух мальчишек была,
чтоб не был в ней излишек, —
под взглядами не снятых с вышек
гулаговских прожекторов.
Стучали кулачищем свыше.
Сдирали со щитов афиши.
Шуршали в уши, словно мыши:
«Не наломайте лишних дров!».

Мы их ломали непрерывно,
и как там с нами ни воюй,
бесстрашны были и наивны
и так раскованно порывны,
словно рискованные рифмы,
с губ, где не высох поцелуй.

А помнишь, вышли мы от Гии
Данелии – совсем другие,
чем иногда теперь, когда…
Забудем. Главное – Тогда.
Итак, мы вышли. В ночь. От Гии.
Ночь была тоже молода,
и ей, как нам, вовсю хотелось
в какую-нибудь завертелость
и безо всякого стыда.
Да и нечисты все стыды,
когда здесь Чистые пруды.

Мы оба, чтоб с народом слиться.
листали всю тебя, столица,
сначала ноги, после лица,
ища подружек «на авось»,
но отыскать не слишком строгой,
интеллигентно длинноногой,
родной души не удалось.
Мы уходились. Шли устало.
Но приключенье не настало.

А мимо шла «Аннушка» неутомимо,

не та, что с маслом тем коварным, —
а занятый трудом ударным,
заблудший на кольце бульварном
ночной трамвай под буквой «А»,
с облезло красными боками
и дребезжащими звонками —
родная женская душа,
единственная, кто в ту ночь
хотела нам двоим помочь.

А кто-то выглянул в окно,
глотая тряское вино,
и, басом пошатнув трамвай,
нам прохрипел: «Ребя, давай!».
«А ну догоним и – на хвост!» —
воскликнул я, легко, как тост,
тем более, что нам Булгаков
отеческих не сделал знаков.
И понеслись мы через шпалы
во все, нас ждущие, опалы,
и, будто нас пожар прожег,
на буфер сделали прыжок.

И вдруг – аж слышать мог Урал,
гимн репродуктор заиграл!!!

Как жаль, что нас не видел Гия,
когда, одетые вполне,
мы, как два мальчика нагие
на красном взмыленном коне,
тряслись под утро вместе с гимном
на том хвосте гостеприимном
в полупроснувшейся стране.

Потом, как водится в России,
в трамвай нас люди пригласили
и «Три семерки» из горла
нам родина преподнесла.
Автобусники. После смены.
С Марьиной Рощи. Джентльмены.
Сказали: «Мы не за рулем.
Есть вобла. Может, вобланем?».
Один, глядящий всех бодрей,
мне вдруг сказал: «Ведь ты Андрей?».

А кореш в несколько мгновений
Андрея разглядел: «Евгений?».

Мы, распрощавшись, хохотали,
как мы с тобой друг другом стали.
А что случилось после с нами, —
наверно, это мы не сами.
Мы сами – это только те
у «Аннушки», на том хвосте…

2005 г.

Одни из самых известных поэтов-шестидесятников Евгений Евтушенко (слева) и Андрей Вознесенский. 1980 г.

Евгений Евтушенко
Любимая, спи!

Соленые брызги блестят на заборе.
Калитка уже на запоре.
И море,
дымясь, и вздымаясь, и дамбы долбя,
соленое солнце всосало в себя.
Любимая, спи…
Мою душу не мучай,

Уже засыпают и горы, и степь,
И пес наш хромучий,
лохмато-дремучий,
Ложится и лижет соленую цепь.
И море – всем топотом,
и ветви – всем ропотом,
И всем своим опытом —
пес на цепи,
а я тебе – шепотом,
потом – полушепотом,
Потом – уже молча:
«Любимая, спи…»
Любимая, спи…
Позабудь, что мы в ссоре.
Представь:
просыпаемся.
Свежесть во всем.
Мы в сене.
Мы сони.
И дышит мацони
откуда-то снизу,
из погреба, —
в сон.
О, как мне заставить
все это представить
тебя, недоверу?
Любимая, спи…
Во сне улыбайся.
(все слезы отставить!),
цветы собирай
и гадай, где поставить,
и множество платьев красивых купи.
Бормочется?
Видно, устала ворочаться?
Ты в сон завернись
и окутайся им.
Во сне можно делать все то,
что захочется,
все то,
что бормочется,
если не спим.
Не спать безрассудно,
и даже подсудно, —
ведь все,

что подспудно,
кричит в глубине.
Глазам твоим трудно.
В них так многолюдно.
Под веками легче им будет во сне.
Любимая, спи…
Что причина бессоницы?
Ревущее море?
Деревьев мольба?
Дурные предчувствия?
Чья-то бессовестность?
А может, не чья-то,
а просто моя?
Любимая, спи…
Ничего не попишешь,
но знай,
что невинен я в этой вине.
Прости меня – слышишь? —
люби меня – слышишь? —
хотя бы во сне,
хотя бы во сне!
Любимая, спи…
Мы – на шаре земном,
свирепо летящем,
грозящем взорваться, —
и надо обняться,
чтоб вниз не сорваться,
а если сорваться —
сорваться вдвоем.
Любимая, спи…
Ты обид не копи.
Пусть соники тихо в глаза заселяются,
Так тяжко на шаре земном засыпается,
и все-таки —
слышишь, любимая? —
спи…
И море – всем топотом,
и ветви – всем ропотом,
И всем своим опытом —
пес на цепи,
а я тебе – шепотом,
потом – полушепотом,
Потом – уже молча:
«Любимая, спи…»

1964 г.

Евгений Евтушенко со своей первой женой Беллой Ахмадулиной. 1950-е гг.

Евгений Евтушенко
Со мною вот что происходит…

Белле Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
И он
не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучимся мы с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той —

скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько
нервных
и недужных,
ненужных связей,
дружб ненужных!
Куда от этого я денусь?!
О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!

1957 г.

Евгений Евтушенко
Одной знакомой

Белле Ахмадулиной

А собственно, кто ты такая,
С какою такою судьбой,
Что падаешь, водку лакая,
А все же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
Когда, как последняя мразь,
Пластмассою клипсов сверкая,
Играть в самородок взялась?

А собственно, кто ты такая,
Сомнительной славы раба,
По трусости рты затыкая
Последним, кто верит в тебя?

А собственно, кто ты такая?
И, собственно, кто я такой,
Что вою, тебя попрекая,
К тебе прикандален тоской?

1974 г.

Евгений Евтушенко
Шестидесятники

Роберту Рождественскому

Кто были мы,
шестидесятники?
На гребне вала пенного
в двадцатом веке
как десантники
из двадцать первого.
И мы
без лестниц,
и без робости
на штурм отчаянно полезли,
вернув
отобранный при обыске
хрустальный башмачок
поэзии.
Давая звонкие пощечины,
чтобы не дрыхнул,
современнику,
мы пробурили,
зарешеченное
окно
В Европу
и в Америку.
Мы для кого-то были «модными»,
кого-то славой мы обидели,
но вас
мы сделали свободными,
сегодняшние оскорбители.
Пугали наши вкусы,
склонности
и то, что слишком забываемся,

а мы не умерли от скромности
и умирать не собираемся.
Пускай шипят, что мы бездарные,
продажные и лицемерные,
но все равно мы —
легендарные,
оплеванные,
но бессмертные!

1993 г.

Евгений Евтушенко
Неужто больше не будет Беллы…

Неужто больше не будет Беллы —
высокопарности нараспев,
а лишь плебейские децибелы
соревнования на раздев?

Как Белла нервно ломала пальцы
и как рыдала, совсем юна,
когда тогдашние неандертальцы
топтали гения, как спьяна.

На стольких собраниях постоянных
роман, не читая, клеймили они,
изобретали слова: «пастернакипь»
и «Доктор Мертваго» в те стыдные дни.

С поэтом столкнувшись в лесу на тропинке,
она двух слов связать не смогла,
но в робости этой ребячьей запинки,
наверно, сокрытая мудрость была.

Но смелость свою собрала наудачу
и, в общем, Ахматову напролом
она пригласила на мужнину дачу,
да только, к несчастью, была за рулем.
Ахматовой было не надо к ней ездить.
Мотор зачихал, и она поняла —
из разных плеяд не составить созвездья.
Поездка небогоугодна была.

Но в Белле нам слышались Анна, Марина,
и Пушкин, конечно, и Пастернак,
все было старинно, чуть – чуть стеаринно:
само по себе получалось все так.

Как женщина, может, была и капризна.
Скажите – а кто не капризен из нас?
Но было в ней чудо слиянья лиризма
с гражданской совестью – не напоказ.

Какую я чувствую, Боже, пропажу —
как после елабужского гвоздя.
Незнанья истории я не уважу…
Ну, – кто раздвигал хризантемами стражу,
так царственно к Сахарову входя?!

2010 г.

Евгений Евтушенко с Беллой Ахмадулиной. 1970-е гг.

Булат Окуджава
«Нас объединило и выдвинуло время»

Это были такие годы, когда внезапно и бурно начало пробуждаться общественное самосознание, родились надежды, возникла потребность в духовном общении. Мы делали попытки говорить с людьми не тем языком, который господствовал долгие годы, а тем, который таился в них. Эти попытки увенчались некоторым успехом. Оказалось, что наш откровенный диалог обоюдно важен.

О первой моей книжечке говорить смешно и стыдно. Это была очень слабая книга, написанная человеком, страдающим калужской провинциальной самонадеянностью. Хорошо, что в Москве я подвергся битью своими собратьями. Это меня очень отрезвило, о многом заставило задуматься.

Моими учителями были Пушкин, Киплинг, Пастернак. Если говорить о тех, кто «вывел меня в люди» в практическом плане, не могу не вспомнить добрым словом Антокольского, Наровчатова, Евтушенко, Григория Левина, Михаила Львова.

Нынче я – профессиональный литератор. Пытаюсь рассказать о себе с помощью прозы, стихов, музыки.

Я думаю, что «нынешние времена» явились продолжением «тех времен», и в этом смысле весь еще не израсходованный запас энергии отдаю им с радостью и надеждой.

Булат Окуджава
О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой…

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
Когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют,
Где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают.
По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин,
И грустные те комиссары идут по Москве как один,
И нету, и нету погибших средь старых арбатских ребят,
Лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо, не спят.

Пусть память – нелегкая служба, но все повидала Москва,

И старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

1989 г.

Булат Окуджава
Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
Ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои – люди невеликие,
Каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
Ты – моя религия,
Мостовые твои подо мной лежат.

От любови твоей вовсе не излечишься,
Сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
Ты – мое отечество,
Никогда до конца не пройти тебя.

1959 г.

Последний троллейбус

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний, в случайный.

Последний троллейбус, по улицам мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье, крушенье.
Последний троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры, матросы твои
приходят на помощь.

Я с ними не раз уходил из беды,
я к ним прикасался плечами…
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье, молчанье.

Последний троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает, стихает.

Роберт Рождественский
«Нам всем крупно повезло»

Наша литературная молодость совпала с XX съездом КПСС. Совпала с общей разбуженностью страны, народа, совпала с неожиданным и мучительным переосмыслением прошлого, с возвращением реабилитированных, с круговоротом споров, сомнений, надежд и – вопросов, вопросов, вопросов!

Задавая эти вопросы и пытаясь ответить на них, мы искали себя, взрослели, учились жить, учились любить и ненавидеть, учились думать…

С Евгением Евтушенко я встретился в Литературном институте. Так что знакомы мы с ним (даже вспоминать страшно) аж с 1951 года!

С Булатом Окуджавой и Андреем Вознесенским я познакомился позже – году в пятьдесят пятом.

Как мы относились друг к другу в то время?

Да, по-моему, нормально относились. С большим интересом и уважением. Хотя, конечно, и не без некоторой доли «подросткового», почти мальчишеского соперничества. (Сейчас вспоминаю все это, и самому смешно становится: господи, какими же молодыми были мы тогда!)

Часто встречались, вместе выступали на поэтических вечерах, бывали друг у друга дома, разговаривали, спорили, читали стихи.

Помню вечер, когда Булат впервые спел две свои песни…

Долгое время нас упоминали вместе, ругали вместе и хвалили вместе. Впрочем, если вспомнить шестьдесят третий год, то, пожалуй, больше ругали, чем хвалили.

И молодыми нас называли тоже очень долго – лет до сорока пяти. Но мы не обижались: глупо на это обижаться.

У каждого из нас были свои сложности, свои удачи и неудачи, свои находки и потери. Мы жили, мы работали, но иногда мне казалось, что мы постоянно кому-то сильно мешаем. Причем мешаем неизвестно чем. Наверное, самим фактом своего существования.

Во всяком случае, регулярно на протяжении этих тридцати лет некоторые наши коллеги по СП устно и печатно (но зато всегда с невыразимой радостью!) заявляли о том, что наконец-то мы «кончились», слава богу, «сошли со сцены», «исписались» и т. д.

И каждый раз нам торопливо подыскивали замену, опубликовывая «более достойные списки молодых поэтов».

Однако проходило полгода (или год), и тем же самым коллегам почему-то приходилось выступать снова и опять яростно доказывать, убеждать самих себя в том, что уж теперь-то мы «наверняка кончились», «прошли», «исчезли с поэтического горизонта»!..

Роберт Рождественский с женой и дочерью. 1970-е гг.

Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами.

(Роберт Рождественский)

Так что «кончались» мы множество раз. И никакими «творческими некрологами» нас теперь не удивишь. Привыкли.

И все-таки мы продолжаемся. Каждый – в меру своих сил. И будем продолжаться до тех пор, пока продолжаются наши жизни.

Изменились ли мы за тридцать лет?

Безусловно, изменились. Иначе-то и быть не могло!

Что осталось в нас от тех, тогдашних?

Думаю, что многое осталось. Наверняка остался стержень характера. Ведь вырабатывается он в человеке гораздо раньше

двадцати лет. Осталась память о военном детстве. Осталось ощущение начала и надежда, что какие-то главные строки, главные наши стихи еще на подходе.

Осталось (и приумножилось) искреннее уважение к литературе.

Пытался ли я «изменить время»?

Ну, знаете, для того, чтобы ставить перед собой подобную задачу, надо обладать воистину гигантским самомнением!

Вы только представьте, как же должен выглядеть поэт, который сидит за письменным столом и на полном серьезе размышляет: «А что будет, ежели я время изменю?!».

А вот с теми или иными вредными, лживыми тенденциями конкретного времени бороться можно и нужно. Всегда. При всех обстоятельствах. Даже через «не могу».

Строку: «Нас мало. Нас может быть четверо…» – я запомнил сразу. И, наверное, запомнил не я один. Но, по-моему, Андрей Вознесенский тогда схитрил: никого, кроме себя, не назвав, он как бы предоставил другим поэтам умозрительное право «бороться» за выход в эту четверку.

Ну, а если говорить серьезно, то все рассуждения о «тройках, четверках и пятерках» больше подходят для хоккея с шайбой, чем для поэзии.

Необходимо отметить главное: мы никогда не были «группой» в нынешнем, литературном (а точнее, окололитературном) смысле этого слова. И поэтому никогда не занимались тем, чем занимаются такие группы сегодня, то есть не пытались «захватить» газету, журнал или издательство для того, чтобы подкармливать «своих» и обрушиваться на «чужих».

На подобную «активную творческую жизнь» у нас не было времени. Да и желания тоже не было…

Заметных и по-настоящему молодых поэтов (из тех, кому сегодня 23–25 лет), к сожалению, назвать не могу. Может быть, они и есть, но я их пока не знаю.

Мы входили в литературу, в поэзию, в которой еще вовсю работали Твардовский и Смеляков, Заболоцкий и Мартынов, Антокольский и Светлов, Луговской и Сельвинский, Симонов и Луконин, Самед Вургун и Назым Хикмет. Работали и другие (в том числе и очень большие) поэты. Но я перечислил только тех, с кем неоднократно доводилось встречаться, беседовать, выступать, ездить по стране, а с некоторыми посчастливилось и дружить.

Все они в той или иной мере помогали нам. Помогали хотя бы тем, что были! И память о встречах с ними, их советы, их принципиальность, их стихи помогают нам до сих пор.

А еще тридцать лет назад вместе с нами входили в

литературу такие поэты, как Борис Слуцкий, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев. Без них наша тогдашняя память и наш нынешний день тоже будут пустыми.

Есть и наши ровесники в республиках – на Украине, в Латвии, Литве, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстане, Таджикистане. Двадцать пять лет назад мы подружились с ними, и дружба эта продолжается по сей день. Помогает ли нам она? Конечно, помогает…

Помогать другим – дело естественное. А вот говорить и даже помнить об этом считаю занятием необязательным.

В сопредельные жанры «вторгался» потому, что это интересно.

К тому, что делал (статьи, песни, «Документальный экран»), всегда относился очень серьезно. Во всяком случае, никаким «отдыхом от поэзии» эта часть работы для меня не была.

Время сейчас разворачивается настоящее, интересное, живое. Очень нескучное время сейчас разворачивается!

Быть только свидетелем происходящего, существовать по принципу «Ну-ну, поглядим-посмотрим, что у них получится…» – это значит предать свою молодость.

В перестройке страны надо обязательно участвовать!

Так и будем жить.

Роберт Рождественский
Голос

Евгению Евтушенко

Такая жизненная полоса,
а, может быть, предначертанье свыше.
Других
я различаю голоса,
а собственного голоса
не слышу.
И все же он, как близкая родня,
единственный,
кто согревает в стужу.
До смерти будет он
внутри меня.
Да и потом
не вырвется наружу.

1995 г.

«Я родился – нескладным и длинным…»

Я родился —
нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.

«Ребенок
удивительно смирный…» —
врач сказал обо мне.
…А соседка достала карты,
и они сообщили,
что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.

Не пойду ни в какие бури,
неудачи
смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.
Что судьбою,
мне богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я…
Было дождливо и рано.
Жить сто лет
кукушка звала.

Но глупые карты
врали!
А за ними соседка
врала!
Наврала она про дорогу.
Наврала она про покой…
Карты врали!..

И слава богу,
слава людям,
что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня.
Слава жизни!
Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным.

1960 г.

Отрывок из поэмы «Реквием»

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, – помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, —
о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, —
помните!

1962 г.

Март 1963 года

Не волнуйтесь,
мы умрем.
Не в петле и не на плахе.
Ваши должностные страхи
мы
с собою заберем.
Славным следуйте путем:
в душах и в бумагах шарьте,
запрещайте,
разрешайте.
Радуйтесь.
А мы уйдем.
Точка…

Но уже сейчас
твердо знайте, дорогие:
все равно
придут
другие.
Злее нас.
Слышнее нас.

1963 г.

Белла Ахмадулина
«У времени нет привычки ходить по обочине»

И они, эти тридцать лет, не мимо меня прошли, не стороной. Или я, во всяком случае, не на обочине находилась. Они через меня и двигались, эти тридцать лет. И мудрено было мне не измениться. Да и всем, кого касается это время, не удалось не измениться. Но я как-то по своим собственным правилам полномочна лишь за себя отвечать и о себе рассуждать, потому что полагаю, что изменилась я, весьма изменилась, но моя доброжелательность к моим коллегам осталась неизменной. Каждый из нас, наверное, и тогда, и сейчас отстаивает право на художественную отдельность и совершенно не собирается дерниться в этой вот неразрывности имен, присутствующих в сегодняшнем разговоре. Эта отдельность и тогда, наверно, была заметна, но каждый в ней, видимо, только утверждался по мере своего развития.

Я без лишнего упоения и без всякого обольщения вспоминаю собственную молодость. Я не могу быть ею зачарована, я, конечно, изменилась. Что во мне осталось от прежней? Думаю, то хорошее и в тех пределах, в которых это хорошее было мне дано. И мне не удалось с этим разминуться, потому что есть что-то изначальное, чему судьба и характер как-то следуют. Но сам этот мой молодой образ не слишком для меня обольстителен. Умственное развитие мне тоже удалось претерпеть, и то состояние моего ума я вспоминаю как неудовлетворительное, то есть всегда резвое, всегда очень пылкое, готовое к вдохновению. Я много писала, не замечая времени суток. Но если строго говорить, то это отчасти и отнимало время от моего образования, я чувствовала свое невежество, свою недостаточную осведомленность (я и сейчас не могу ее назвать достаточной, но тогда она не позволяла мне многого прочесть).

Представление о недавней отечественной истории было какое-то поверхностное и смутное. Сейчас я к этому более серьезно отношусь и большую ответственность в связи с этим ощущаю. Но как важны были именно те годы! Они так много переменили в жизни общества, и это сказывалось на успехе поэтических эстрадных выступлений, потому что люди как бы ждали от поэтов скорейшего ответа на вопросы, которые их занимали. Что касается меня, то я еще не могла сама ответить на многие вопросы, занимавшие в то время нашу слушающую и

читающую публику. Я, правда, не знаю, насколько и сейчас в этом преуспела, но с годами мне пришлось поступиться какой-то все-таки суетностью слишком шумных выступлений, и сегодня к ним совершенно спокойно и строго отношусь.

Да, течение времени не может не влиять на человека. Я уверена, что эти тридцать лет, наполненные многими важными событиями, так или иначе содеяли меня и те мои качества, из которых я сейчас состою. Сама же преднамеренно влиять на время никак не надеялась и думаю, что это было бы слишком развязно и претенциозно, но я думаю, что все-таки всякий человек, допущенный до каких-то художественных изъявлений или вообще любых изъявлений своей личности, так или иначе сказывается на времени. А суждений о том, кто на кого сумел повлиять, нужно спросить у тех, кому сегодня тридцать, у тех, кто родился в ту пору.

Думается, что они ответили бы так же.

Кстати, когда мы начинали, тогда жили великие русские поэты Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак, и я нисколько бы не обиделась, если бы какие-то люди мне сказали: знаете, совсем не ваши выступления на меня повлияли, а присутствие этих имен в литературе. Да, один из нас сказал: «Нас мало. Нас может быть четверо…». Но другой из нас сказал: «Я стол прошу накрыть на пять персон на площади Восстанья и полшестого…».

Да, когда мы начинали, тогда начинали многие… Просто по разным причинам иные из них не были так известны. Наш ровесник Александр Кушнер, к примеру, который жил другой жизнью, более замкнутой, более тихой и вообще незаметно… преподавал. Я говорю это к тому, что Политехнический и Лужники – не единственный путь для поэта.

Кто повлиял на меня? Мое отношение к Ахматовой и Пастернаку можно назвать только обожанием. Обожание не есть самый счастливый способ относиться к тому, кого ты любишь; потому что это как-то заведомо обречено на некоторую зависимость. Хотя бы потому, что сила вот этого моего чувства никак не допускала меня до того, чтобы я искала с ними встречи, напротив, я их страшно сторонилась, ну, видела их, конечно, но не потому, что имела такую прыть, а просто по судьбе так дышло. Просто совпадение с ними на белом свете на меня очень действовало. Но были еще влияния другого рода. Скажем, Ярослав Смеляков. Я познакомилась с ним в 56-м году, еще будучи совсем молодой, и эта встреча не могла не поразить меня. Он, кстати, был первый, для меня первый из тех, кто вернулся из несправедливого заключения. Я ведь рано начала литературную

жизнь и сразу попала в среду старших по возрасту. Кстати, все упомянутые вами поэты были хоть не намного, но старше меня, и моя разница в возрасте незначительна, но они, несомненно, влияли на меня своей работой, своим недалеким присутствием. Но вот вернулся Смеляков. И мой убогий опыт, совсем малый и совсем благополучный, все-таки сумел воспринять в себя опыт, совершенно мне неведомый. Ну как соотнести собственный уют недлинной пока биографии с тем, что происходило на белом свете? Мне как-то сразу стали помогать. Я попала в литературное объединение к Евгению Винокурову, еще до Литературного института он принял во мне живое участие, многое мне дал, его поражала моя страшная неосведомленность в литературе, искусстве. Он искренне поражался той умственной темноте, которая сочеталась во мне с какими-то светлыми порывами души. Он сам напечатал мои стихи, передал Щипачеву. Я не однажды вспоминала мягкость, доброту Степана Петровича. Во-первых, я жила тогда в огромной коммунальной квартире, а родители мои не поощряли моих литературных занятий, и Степан Петрович стал звонить им. Это совершенно поразило моих родителей. Он стал звонить и просить меня увидеться, а я от молодой гордости, за которой стояла только скованность и неуклюжесть, уклонялась от этих встреч. Но тем не менее он все-таки нашел способ увидеться и напечатать мои стихи. Вскоре я получила письмо от Ильи Сельдина некоего, которое предрешило легкое мое поступление в Литературный институт. Ведь стихи-то мои были совершенно детские.

Белла Ахатовна Ахмадулина (1937–2010) – русская поэтесса, писательница, переводчица, один из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века.

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

(Белла Ахмадулина)

Потом по сюжету моей жизни я видела писателей многих,

действовавших в литературе, пообщалась с ними. Трудно назвать литератора, с которым бы я разминулась, и многие имели ко мне какую-то мягкость и благосклонность, и от каждого из них во мне что-то осталось. Это было больше, чем обучение, это была жизнь, будившая дух, я проходила какую-то литературную и человеческую школу.

Старалась ли я помочь молодым? Самое большее, что я об этом могу сказать, – это то, что я, правда, всегда старалась как-то кому-то помогать разным способом, любым для меня возможным, но вспоминать об этом считаю совершенно ненужным. Мне кажется, что всякое упоминание о том, что ты старался для людей что-то сделать, вообще сводит на нет значение этого маленького добродеяния… Думаю, что они сами еще отзовутся когда-нибудь…

У нас есть сейчас все основания ощущать перемену времени, и мне бы хотелось это соотнести в каком-то смысле с собой, с теми моими коллегами, которые начинали вместе со мной. Будем надеяться, что эта перемена времени, несомненно, благодатно скажется на появлении новых литературных имен. Потому что всякая перемена такого рода поощрительна для появления новых имен не только в искусстве, но и вообще в разных областях человеческой деятельности. Во всяком случае, я искренно надеюсь на это.

А прилив сил, он всегда приходит ко мне, только когда я сосредоточена и замкнута в своей работе.

* * *

Упомянутое Б. Ахмадулиной стихотворение заканчивалось строками: «И были наши помыслы чисты на площади Восстанья в полшестого». Как слова эти удивительно искренне и пронзительно соответствуют благим порывам в будущее молодой тогдашней поэзии! Утверждение себя в жизни и в искусстве, гражданственная наполненность дум и помыслов, удивительно распахнутое волнение за все, что происходило вокруг… И здесь же почти юношеский максимализм принципов и оценок происходящего, «маяковское» ниспровержение тех или иных авторитетов, вера друг в друга. И не важно, в конце концов, четверо, пятеро (Булат Окуджава, наверное, имел в виду еще и других, когда восклицал: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу»). Важно другое, и об этом говорили в Переделкине почти все: они не стали «стаей», группой. Все они разные, у всех свои пути в жизни и в литературе, к кому-то из

них, вероятно, судьба более благоволила, к кому-то менее – важно другое: их путь в поэзии был ярким, заметным, плодотворным. Они сделали свое дело. Очень хорошо об этом сказал поэт Вадим Шефнер: «…никто не предполагал, что группа молодых поэтов столь быстро и целеустремленно войдет в нашу поэзию и не только утвердит в ней себя, но и изменит расстановку поэтических сил. Конечно, этим поэтам помогло время. Но ведь и они помогли времени. К стихам их можно относиться как угодно, это – дело вкуса. Но нельзя отрицать того, что молодые поэты послужили как бы неким бродильным началом, что они подняли интерес читателей к поэзии вообще. И перед лицом массового читателя яснее стало видно, кто чего стоит и кто на чем стоит». Я бы вспомнил и произнесенную будто сегодня строку Е. Евтушенко «Посредственность неестественна, как неестественна ложь».

Чего у них не отнимешь, так это и в самом деле одного, но самого, пожалуй, главного – таланта. Их имена знакомы каждому. И пусть их пребывание в литературе, нелегкая творческая работа, их книги, дела, поступки помогут нынешним молодым, тем, кто думает, «делать жизнь с кого». Ведь истинная поэзия – это живая глава живой истории.

Мне нравится, что жизнь всегда права
С Беллой Ахмадулиной в канун ее 50-летия беседует корреспондент «Огонька» Феликс Медведев

– Самое любопытное, что от меня останется, – это письма ко мне. Своего литературного значения я никогда не преувеличивала. Я была человеком своего времени и свой долг исполняла так, как его понимала.

Мне достаточно того, что среди неисчислимых любителей поэзии есть – пусть немного – те, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Меня не раз поражала высокая просвещенность моих современников. Я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении, и он был краше и лучше моего, с ними связана я всей жизнью до последней кровинки.

Подобное ощущение бывало со мной не однажды: как-то я выступала на металлургическом заводе, прямо в цехе. После чтения стихов завязалась беседа со слушателями, и моя благодарность им вылилась в слова: «Я люблю вас, друзья! Но, поверьте, если не думать о словесности, мы не выживем». И рабочие мне поверили. А сегодня я еще раз поняла, что между пишущим человеком и читающим, слушающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

…Метельным вечером наш «жигуленок», оставляя позади себя километры проселочных дорог, по обе стороны которых пугающе чернели леса, медленно продвигался к Москве. В кабине – тепло и уютно, об ином собеседнике нечего было и мечтать…

Ситуация такова: когда я попросил Беллу Ахмадулину об интервью накануне ее юбилея, она пригласила меня быть ее спутником в поездке на творческий вечер в один из отдаленных подмосковных клубов. Прекрасно, подумал я, времени для беседы в столь дальней дороге будет достаточно. К тому же мне придется стать свидетелем встречи поэтессы с читателями, о которых она не раз с уважением отзывалась в стихах. Поэтессы, как считается иными, тонкой, изящной, камерной – с публикой «простой», не избалованной приездами столичных знаменитостей, да к тому же,

мягко говоря, не совсем разбирающейся в тонкостях поэтического ремесла. Это и заинтриговало.

Одним словом, поездка состоялась.

– Ни в моей родословной, ни в поре детства не было ничего особо примечательного: происхожу я из скромной семьи служащих. Мой отец Ахат Валеевич Ахмадулин, моя мать – Надежда Макаровна Лазарева. Бабушка, Надежда Митрофановна Баранова, урожденная Стопани, из семьи с итальянскими корнями, давно уже перепутавшимися с русскими.

Я долго не говорила, и едва ли не первым осмысленным сочетанием слов было распространенное предложение, слетевшее с моих губ, когда я увидела тюльпан: «Я такого не видала никогда». С самого раннего детства, совпавшего с предвоенной порой, мне запомнился шар, беспомощно запутавшийся в ветвях, огромные оранжевые лепестки букета маков, облетевшего при первом порыве ветра… Это ощущение хрупкости всего на свете во мне очень сильно и сегодня, и я думаю, что в этом ощущении-отчаянии есть какой-то смысл, какая-то поучительность. Ну хотя бы в том, что красота не есть то, чем ты должен обязательно владеть, что вообще всякое владение чем-то не прочно.

Помню начало и все течение войны. Я жила в Москве, а потом, как и многие, оказалась в эвакуации. И всегда при мне была бабушка, редкостный по бескорыстию человек. Ей настолько было отвратным всякое имущество, всякое обладание чем-то, было в этом что-то действительно исключительное, выдающееся. Все живое она любила удивительной любовью. Помню, как, по-видимому, желая испытать ее вот эту всю доброту, подобрала я полуубитую крысу и с жутким отвращением приволокла бабушке. Ей же и в голову не пришло этим гнушаться, ничего, кроме жалости к умиравшему существу, у бабушки я не обнаружила.

Мое детство – это Маросейка, Покровка, Чистые пруды… Какими необыкновенно таинственными казались мне густые заросли Ильинского сквера! Однажды бабушку предупредили, что с таким-то мальчиком не надо играть, он болел корью и еще не совсем здоров. Но добрейшей Надежде Митрофановне так жалко было одинокого ребенка, что мы не могли удержаться от общения с ним. И, естественно, тут же я переняла болезнь.

Помню, как ехали мы в эвакуацию, в Уфу, и во мне, в несмышленыше, трепетало ощущение какого-то огромного всенародного бедствия. Помню, как бабушка читала вслух Пушкина и Гоголя, и это во мне навсегда совпало с ощущением воздушных тревог, мрака безысходности и людской утешительности одновременно.

Детство, начало начал. Все дальнейшее, к чему я постоянно стремилась, так это страсть к сочинительству: в школе, во дворце пионеров, в литературных студиях и кружках. Здесь уместно сказать: несмотря на то, что сочиняла я просто ужасно, но уже оттуда, из дальней туманной поры, человечество я знаю с лучшей стороны – люди относились к моим занятиям милостиво и благосклонно. Поэтому меня миновало чувство какого-то тяжкого культа человека, пытающегося что-то там сочинять и этим отличаться от других.

Поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и поэтесса Белла Ахмадулина в Москве. 1984 г.

Ученические годы прошли в школах Колпачного, а потом Лялина переулков. Это все старая исконная наша столица. Наверное, отсюда и живо во мне, неистребимо мое московское чувство: Москва-река, маленькие церквушки, несуетные скверы, спешащий люд!

Впрочем, при этом я совершенно не могу обходиться без Ленинграда и провожу там значительную часть времени. От свидания к свиданию возвышается во мне и любовное чувство к удивительному Тбилиси.

Родители надеялись, что я займусь филологией или журналистикой. В Литературный институт после школы мне поступать не разрешили, в университет я не прошла и никогда об этом не жалела.

Устроилась на работу в многотиражку «Метростроевец». Период этот совпал с моими занятиями в литературной студии Евгения Михайловича Винокурова на автомобильном заводе имени Лихачева. А на следующий год я с необыкновенной легкостью поступила в Литинститут.

– Белла Ахатовна, в том, что вы рассказали, мне видится некое предощущение понятия «судьба поэта». Как вы осмысливаете его?

– Никто не бывает так счастлив на белом свете, как поэт. Только он один, сколько бы ему ни выпало жить, может поражаться сочетанию цвета и света, капли и солнечного луча, осознать блаженство бытия, всегда думая о небытии больше, чем другие. Счастье для любого человека – это умение радоваться. А для поэта в особенности, потому что всем остальным людям нужно что-нибудь, а поэту – ничего…

Как читатель и как человек, я всегда думаю о судьбах великих поэтов и, имея в виду трагедии их жизни, считаю, что великий поэт никогда не уйдет раньше своего срока. Ахматовой было дано именно столько прожить со всеми ее страданиями, а Лермонтову столько, сколько он и прожил… Но именно великий поэт должен успеть сделать и то, что он должен сделать для человечества. А от чего сие зависит, это уж другое… Да и про Пушкина осмелюсь сказать, что, уже обреченный, он не покинул бы нас, если бы не смог сделать всего, что ему предначертано. А Цветаева? Никогда никакая сила не заставила бы ее уйти из жизни, если бы долг не был ею исполнен. И поэтому я точно знаю, что сослагательное наклонение здесь неприменимо. Что, если бы да кабы… Я уверена, судьба поэта предопределена. Он так неслучаен (впрочем, я думаю, что и никто на свете не случаен, всем судьбам есть объяснение), этот человек, наиболее призванный к трагическому способу существования. Он, как правило, не задерживается на белом свете, и удел других спасти его, но обычно из таких попыток ничего не выходит…

– Несколько мрачновато, но подлинный поэт, наверное, действительно трагично ощущает пульс времени. В который уже раз вспоминаются слова Гейне о трещине мира, проходящей через сердце поэта.

– Да, я уверена, что трещина мира проходит через сердце поэта. Люди доверяют поэту, делятся с ним душевной болью, просят помощи, поверяют свои сокровенные тайны. Хотя, казалось бы, коль ты художник, замкнись в себе и пиши. Но настоящий художник никогда в себе не замыкается, и обязательно все, что он творит, он творит рядом с людьми. Иначе он не может.

– Считаете ли вы свою поэтическую судьбу счастливой?

– Я считаю себя счастливым автором, ибо отчасти и на меня падает благосклонность читателей, которые в книжных магазинах не находят подчас необходимых им книг.

– Как вы относитесь к тому, что иные критики подразделяют поэзию на «мужскую» и «женскую»?

– Абсолютно не признаю этого и не принимаю! И не хочу знать, что пишут критики и литературоведы по этому поводу. Я знаю только, что у нас в России в XX веке было два великих поэта женского полу. Но это ничего не значит, кроме того, что они еще претерпели те тяготы, которые выпадают на долю женщин. Человек, который занимается искусством, мужского он полу или женского, должен равно быть при всех человеческих качествах. Более мужественного, доблестного мужчины, чем Пушкин, на белом свете мы не знаем. Такими же качествами обладали Ахматова и Цветаева. То есть в них тоже были и мужество, и честь, и доблесть, и при этом они были еще и женщинами, что только усугубляет трагедийную сущность их существования. А что же такое поэзия женская? Я не знаю этого. А если она и бывает, то дай ей бог… Быть может, вы имеете в виду слова Павла Антокольского, который говорил: «Она не поэтесса, а поэт!». О других мне судить неловко, а про себя я бы так сказала: хоть горшком назови, только в печку не сажай.

– Извините, но сажание горшка в печку – это именно тот самый быт, который отнял, быть может, лучшие строки у Марины Цветаевой. Вам ведь тоже приходится сопротивляться быту, каким-то мелочным житейским заботам?

– Марина Цветаева старалась не замечать тягости быта, она сумела и с этим совладать как поэт, как женщина, как гений. А я всего лишь несовершенный современник и соотечественник своих сограждан, и мне в этом смысле нет никакой поблажки. То есть я должна также думать и о детях, и о еде, и о муже. Только мне, может быть, легче, потому что люди помогают. А как же иначе?

– Белла Ахатовна, в последнее время все чаще и чаще говорят о том, как резко упал интерес читателей и покупателей к поэтическим книгам, что произошла некая девальвация поэтического слова. Вы задумывались над этим или нет?

– Я совершенно обратного мнения. Мне кажется, интерес к поэзии не только не упал, а наоборот, наша читающая публика по сравнению с шестидесятыми годами неимоверно усовершенствовалась. Тогда люди очень торопились читать, торопились услышать поэта. Мне кажется, сегодня интерес к поэзии не стал менее поверхностным, чем был раньше, а стал более глубоким.

Четверть века назад интерес к поэзии, символизируемый

Лужниками и Политехническим музеем, эти огромные аудитории я вспоминаю без всякой грусти, был каким-то поверхностным, а сейчас все стало гораздо тоньше, я бы сказала, читатели стали много изысканнее, много прихотливее. Вот только беда – книг не хватает.

– Хороших книг.

– Тех, которые нужны читателю, скажем так…

– Еще совсем недавно многие авторы спекулировали на таких понятиях, как «социальный заказ», «гражданская тема», используя их, как правило, в корыстных целях для создания произведений скороспелых, поверхностных и, как правило, не нужных читателю. Что вы об этом думаете?

– Поэт не может не быть гражданином своего Отечества. Только как много всяческих спекуляций, обманов, просто словесной чуши скрывается за этими высокими понятиями. Что касается меня, то я всегда точно знала, где я родилась, где я живу и чему я, собственно, служу. Конечно, когда я пишу стихи, я об этом как бы и не думаю, ибо это в плоти и крови… Но я ни на минуту не могу забыть о соотечественниках своих, о том, как они живут, какую радость они испытывают и какие горести лежат на их плечах. Поэт не может от этого отвлечься. Отвлечься от истории своей страны, от вещности сего преходящего часа, сего мига. И счастье в том, что кто-то совпал с тобой во времени, на этой земле, а ты совпал во времени с ним. Меня утешает, что есть люди, которые тонко и сильно чувствуют поэзию, люди, с которыми мы совпали во времени и для которых я пишу и живу.

– Белла Ахатовна, я слышал о вас такое суждение: Ахмадулина пишет по наитию, за многими ее стихами нет конкретных реалий бытия, спросите у нее о том или ином стихотворении, и она не сможет ответить, когда и во имя чего оно написано. Так ли это?

– Абсолютно неверно. Все мои стихи рождались по совершенно конкретным поводам жизни, про все свои стихи я помню все: когда, где, как, из чего они возникали, и я не верю тем сочинителям, которые утверждают, что ничего не помнят, что пишут по наитию, что в голове у них всегда туман, облака, морока… Нет, у меня все не так…

– Часто на вечерах вы читаете стихотворение «Как долго я не высыпалась…». Скажите, оно особенно любимо вами или оно привлекает вас своим действительно «осязаемым» материалом, живыми судьбами «Мандельштама и Марины»?

– Как ни странно, это стихотворение многим нравится, хотя оно мне кажется неказистым. Оно дорого мне, пожалуй, тем, что я читала его по радио и едва ли не впервые так громогласно,

«вслух» было произнесено имя Мандельштама. А вообще оно не совсем совпадает с моим нынешним представлением о существе предмета, в нем излагаемого.

Слева направо:
Римма Казакова, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский. 1960-е гг.

– К вам приходят молодые поэты?

– Вы знаете, лучшие не приходят. Они только письмо напишут с каким-то добрым словом, пришлют стихи, но ни о чем не просят. Сами ходят по издательствам, по редакциям. Или не ходят или вовсе, прячут написанное в стол.

– Вы говорите, лучшие не приходят… Но ведь так гибнет талант: в забвении, в несмелости. Как же быть?

– Да, бережное отношение к талантливым людям необыкновенно важно. Все-таки пишущему человеку обязательно нужно печататься. И следить за этим должны другие. Часто получается, что публикации просят, как милостыни какой… Горько вспоминать Высоцкого. Я имела счастье числиться в его товарищах. О, если бы вы знали, как желала я тогда, чтобы его печатали. При жизни только раз ему удалось опубликовать одно стихотворение в «Дне поэзии». Но ничего, кроме печали, это не принесло. Сегодня видно, как вредило ему, что стихи не печатались. Он вытягивал голосом по три варианта строки, а решения – ни одного.

Вы знаете, о чем еще я думаю: не нам судить, талантлив человек или нет, здесь время – верховный судия. Важно другое: человек должен печататься! Пишущему должна быть дана такая возможность. Особенно молодежи. По-моему, сегодня в поэзии критическое положение: где талантливые молодые поэты, где имена?! Их нету? Они есть! Но они отважены редакциями, грубым обращением издательств, чинушами от литературы, уязвлением их самобытности.

– Вы могли бы назвать кого-то из молодых, нуждающихся в срочной поддержке?

– Да, могу: ленинградку Елену Шварц. Она– поэт, она – чудо, вы мне можете поверить. Стихи ее – существа чистейшие. Но при этом лишь два ее стихотворения напечатаны в сборнике «Круг», вышедшем в «Советском писателе». С помощью друзей подготовили рукопись для ленинградского отделения «Советского писателя», и ни ответа, ни привета. Даже вмешательство Даниила Гранина, которого я попросила об этом, не помогло.

– Можно ли ваши теплые слова о стихах Елены Шварц принять за рекомендацию к публикации их у нас в «Огоньке»?

– Я буду признательна «Огоньку», если он опубликует стихи Елены. Уверена, что и любители поэзии останутся довольны.

– А как сложилось у вас с первыми публикациями? Вам помогал кто-нибудь?

– Не посчитайте за нескромность, но мне помогали все. Павел Григорьевич Антокольский за меня ходил и палкой своей стучал.

О нем вспоминаю с особенной любовью. Каким необыкновенно расточительным он был на доброту, на нежность, на желание помочь молодежи. Для меня он был чем-то большим, чем просто старшим товарищем, старшим коллегой, все в его бытность как-то сместилось – возраст, годы, и я уже не замечала, что он намного старше меня… Вы знаете, нынче я вижу, как трудно заменить его для тех, кто только начинает свой литературный путь.

И другие мне помогали. Иначе откуда бы появились книги, пластинки… Сама я порога не могу переступить и попросить: «Возьмите мои стихи, пожалуйста». Никогда я этого не делала. И не буду делать.

Кстати, хочу заметить, что в журналах и в издательствах есть немало совершенно бескорыстных подвижников своего дела, и им нелегко бывает – ведь поток рукописей огромен. Они истинно любят поэзию и хотят помочь многим, но не всегда это в их силах.

– Белла Ахатовна, первые ваши публикации были одобрены читателями, критикой, но потом появились разносные статьи. Как вы к ним относились?

– Знаете, я всегда их вспоминаю с… любовью, эти разносные статьи. Именно они помогли мне многое понять. Только ошибочка вышла одна – с тех-то пор и заинтересовался мною читатель…

– Мне кажется, Белла Ахатовна, что происходящая сегодня в обществе трансформация нравственно-духовного климата положительным образом коснулась и вас непосредственно. Иными словами, хотя вы и раньше временами пользовались расположением издателей и читателей, нынче, как говорится, пришел и ваш «черед». Вас, наверное, наперебой приглашают в издательства, редакции, в аудитории?

– Я не могу сказать, что прошлые времена прошли для меня даром, поэтому никакого особого головокружения сегодня я не испытываю от того, что, как вы выразились, «пользуюсь расположением»… Я даже почувствовала некоторую опасность в том смысле, что приходится участвовать в каких-то мероприятиях: записях, съемках, выступлениях, дискуссиях, ответах на вопросы, одним словом, суетиться, и я уже тревожусь – не потерять бы за этим главное. Главное же мое дело – писать стихи, заниматься литературой. А благодарное время само, если будет надо, воспользуется плодами этого труда. Я служила и надеюсь еще отслужить жизни. И счастлива тем, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг, пыталась творить добро и видела доброту людей.

…Так проходила беседа с Беллой Ахмадулиной, замечательным поэтом, чье творчество всегда вызывало интерес читающей публики. И публики слушающей. Положа руку на сердце, я был поражен прямо-таки магическому воздействию стихов Беллы Ахатовны на людей. Вернее, не только стихов, но и всего, что она говорила, отвечая на записки, ее манеры гордо и возвышенно держаться на сцене, ее пронзительного, всегда на высокой ноте и готового сорваться голоса. Я почему-то вспомнил Маяковского, обронившего когда-то ставшую знаменитой фразу о читателе, который должен подниматься до уровня понимания поэта, а не наоборот. Так вот, почти три часа общения Ахмадулиной с залом, три часа абсолютной тишины и внимания, проникновения в непростую и плотную ауру ее возвышенного слога потрясли всех, кто пришел на встречу. На записки гостья отвечала искренне, доходчиво, остроумно. Она вспоминала о встречах с Ахматовой и Пастернаком, благодарила учителей в поэзии, размышляла о современной литературе, рассказывала о своих детях. На вопрос: «Что в вашей жизни было неожиданностью?» – Белла Ахатовна ответила: «Орденом наградили!».

О многом спрашивали в своих записках пришедшие на вечер. Но никто в этом зале не знал, что в жизни Беллы Ахмадулиной было одно событие, представляющееся ей уникальным и важным, – встреча с писателем Владимиром Набоковым. Поэтому я решился спросить ее об этой встрече.

– Русский язык Владимира Набокова был для меня столь пленителен, что я много раз порывалась написать ему и довести до сведения этого замечательного писателя, что он не вполне разминулся с Россией и что не навсегда Россия разминулась с ним.

Поверьте, когда я говорю о любви к писателю, тем более знаменитому, это вовсе не значит, что я ищу с ним встречи. Если уж судьба сама меня с ним сводит… А так я считаю неблаговоспитанным и нескромным навязываться на общение. Тем не менее случилось так, что мы с мужем Борисом Мессерером оказались в 1977 году в Швейцарии и мои друзья, русские люди, живущие за границей и безмерно любящие Россию, знавшие про мое отношение к Набокову, организовали встречу с ним.

Нас соединили по телефону, и Набоков сообщил, что, несмотря на болезнь и усталость, он приглашает к себе к четырем часам следующего дня. И вот мы выехали из Женевы в небольшое местечко Монтре, где жил писатель. Последние годы жизни он провел именно здесь, в отеле «Монтре Палас».

Купив по пути цветов для жены Набокова Веры Евсеевны, мы с волнением мчались на свидание с одним из удивительнейших писателей XX века.

В первые мгновения я была поражена необыкновенной красотой лица Набокова, его благородством. Я много видала фотографий писателя, но ни одна не совпадала с подлинно живым выражением его облика. Владимир Владимирович еще раз извинился, что нездоров и что много времени, к сожалению, не сможет уделить нам, но тем не менее встреча наша затянулась. Конечно же, нам было интересно слушать Владимира Владимировича. Поэтому мы больше молчали.

Он спросил: «Правда ли, мой русский язык кажется вам хорошим?». «Он – лучший», – ответила я. «Вот как, а я думал, что это замороженная клубника».

Белла Ахмадулина и Борис Мессерер. 1978 г.

Так долго я жила, что сердце притупилось
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть и милость.
Те двое под луной – неужто ты и я?

(Белла Ахмадулина)

Заговорил о своей работе, сказал, что во время болезни у него сочинился роман, по-английски. Он вообще все последние вещи писал по-английски. Кстати, многие считают, что его английский поразителен. Уточнил, что роман как бы сам собой сочинился и что остается только положить его на бумагу. Упомянул о книжке

стихов, которая тогда готовилась к выходу. «Может быть, я напрасно это делаю, мне порой кажется, что не все стихи хороши». А потом пошутил: «Ну еще не поздно все изменить».

Мной владело сложное чувство необыкновенной к нему любви, и я ощущала, что, хотя он мягок и добр, свидание с соотечественником причиняет ему какое-то страдание. Ведь Россия, которую он помнил и любил, думала я, изменилась с той поры, когда он покинул ее, изменились люди, изменился отчасти и сам язык, да и многое другое, что связывало его с прошлой жизнью. Он хватался за разговор, делал усилие что-то понять, проникнуться чем-то… Быть может, ему причиняло боль ощущение предстоящей страшной разлуки со всем и со всеми на земле, и ему хотелось насытиться воздухом родины, родной земли, человека, говорящего по-русски.

Я не знала, что ему оставалось жить совсем недолго. Это был март, а летом Владимира Владимировича не стало. Я вспоминаю свидание с ним как удивительнейший случай в моей судьбе. В одном из романов у него сказано, что можно ведь вернуться в Россию под видом какого-то персонажа… Я заметила ему, что он вернется в Россию именно тем, кем он есть для России. Это будет, будет! – повторяла я. Набоков знал, что книги его в Советском Союзе не выходят, но спросил с какой-то надеждой: «А в библиотеке (он сделал ударение на „о“ – в библио́теке) – можно взять что-нибудь мое?». Я развела руками.

* * *

На другой день, вернувшись в редакцию, я вспомнил, что в нашем отделе литературы находится небольшая, всего в две с половиной странички, статья известного театроведа В. Гаевского «Голос Беллы». С разрешения автора привожу отрывки из статьи, во многом точно и тонко характеризующей Ахмадулину:

«Перечтите ранние стихи Беллы Ахмадулиной, вас поразит не изысканность (к этому Ахмадулина давно приучила), но трезвость. Это самые трезвые стихи, написанные в ту опьянявшую стихотворцев эпоху. Может быть, поэтому лучшие стихи Ахмадулиной классичны. В них отсутствует наивная вера в то, что смелость города берет, но есть вера в то, что слово поэта может защитить и спасти друга. Сама интонация ее детского голоса как мольба: боже, не покарай товарищей, таких неблагоразумных. Об этом говорится впрямую. Стихи Ахмадулиной – заклинания, заговор, в некоторых случаях – спор с судьбой, в других – негромогласное бормотание, в котором, однако, заключена

колдовская сила».

Вдумчивый читатель многое увидит за этими словами. Более прямо, категорично высказался в свое время Павел Антокольский: «Ахмадулина прежде всего внутри истории, внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим…».

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.
Пребуду в ней до края, до конца…

Настоящая поэзия всегда с жизнью. И, пока будет жизнь, людям будет нужен поэт. Тот, что внутри самой истории.

Белла Ахмадулина
Ладыжино

Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие краи
на тех, моих, кого люблю, кого
у этих мест и у меня – украли.

Душе во сне в чужую даль глядеть
досуга нет, но и вчера глядела,
спеша ко мне, чтоб я проснулась здесь,
где есмь, – предзная взмыв души из тела.

Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы – за Окой, вон там, за темным бором.

Вот новый день, который вам пошлю —
оповестить о сердца разрыванье,
когда бреду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О, тетя Маня, смилуйся, прости
меня за все, за слово и не-слово.

Твой горек лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Все слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи стало меньше, чем печали.
Окно во снег, икона, стол, скамья.
Две раны глаз за рукавом я прячу.
«Ах, ангел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

«Я лишь объем, где обитает что-то…»

Я лишь объем, где обитает что-то,
чему малы земные имена.
Сооруженье из костей и пота —
его угодья, а не плоть моя.

Его не знаю я: смысл-незнакомец,
вселившийся в чужую конуру —
хозяев выжить, прянуть в заоконность,
не оглянуться, если я умру.

О слово, о несказанное слово!
Оно во мне качается смелей,
чем я, в светопролитьи небосклона,
качаюсь дрожью листьев и ветвей.

Каков окликнуть безымянность способ?
Не выговорю и не говорю…
Как слово звать – у словаря не спросишь,
покуда сам не скажешь словарю.

Мой притеснитель тайный и нетленный —
ему в тисках известного тесно.
Я растекаюсь, становлюсь вселенной,
мы с нею заодно, мы с ней – одно.

Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий
исток его уже любовь исторг.
Уж видно, как его грядущий контур
вступается за братьев и сестер.

Как это все темно, как бестолково.
Кто брат кому и кто кому сестра?
Всяк всякому. Когда приходит слово,
оно не знает дальнего родства.

Оно в уста целует бездыханность.
Ответный выдох – слышим и велик.
Лишь слово попирает бред и хаос
и смертным о бессмертьи говорит.

Сон

(фрагмент, посвященный смерти Евгения Евтушенко)

… О грешной славе рассуждайте сами,
А я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
Что сделать мне? Я сон вам расскажу
Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
Приснилось мне, что входит мой приятель
И говорит: – Страшись. Дурная весть.
– О нем? – О нем. – И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: – Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. —
Глаза жены серебряного цвета:
Зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
Мой смертный крик вознесся над землей.
Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.
О, пусть моим необратимым прахом
Приснюсь себе иль стану наяву —
Не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.
Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив – и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

1960 г.

Поэт Евгений Евтушенко с супругой в аэропорту Парижа. 1966 г.

«Я смотрела на Париж и думала: „Жалко, что это неправда. Все равно я какой-то раб. Вот они – свободные люди, любой какой-нибудь гарсон“».

(Белла Ахмадулина)

Евгений Евтушенко
Преждевременная автобиография

Автобиография поэта – это его стихи. Все остальное – лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.

Для того чтобы иметь право беспощадно правдиво писать о других, поэт должен беспощадно правдиво писать и о себе. Раздвоение личности поэта – на реальную и поэтическую – неминуемо ведет к творческому самоубийству.

Когда жизнь Артюра Рембо, ставшего работорговцем, пошла наперекор его ранним поэтическим идеалам, он перестал писать стихи. Но это был еще честный выход.

К сожалению, многие поэты, когда их жизнь начинает идти вразрез с поэзией, продолжают писать, изображая себя не такими, какие они есть на самом деле.

Но им только кажется, что они пишут стихи.

Поэзию не обманешь.

И поэзия покидает их.

Поэзия – женщина мстительная: она не прощает неправды.

Но она не прощает и неполной правды. Есть люди, которые гордятся тем, что они не сказали за всю свою жизнь ни слова неправды. Но пусть каждый из них спросит себя – сколько раз он не сказал правды, предпочитая удобное для себя молчание.

…Умолчание о самом себе в поэзии неизбежно переходит в умалчивание обо всех других людях, об их страданиях, об их горестях.

Многие советские поэты в течение долгого времени не писали о собственных раздумьях, собственных сложностях и противоречиях – и, естественно, о сложностях и противоречиях людей. Я уже не говорю о пролеткультовском «мы», которое барабанно грохотало со всех страниц, заглушая тонкие и неповторимые мелодии человеческих индивидуальностей. Но и многие стихи, написанные после распада Пролеткульта от первого лица единственного числа, все-таки продолжали носить на себе отпечаток этого гигантски-бутафорского «мы». Поэтическое «я» становилось чисто номинальным. Даже простое «Я люблю» бывало иногда настолько неконкретным, настолько декларативным, что звучало как «Мы любим».

Именно в это время и был выдвинут нашей критикой термин «лирический герой». По рецепту этой критики поэт должен был

быть не самим собой в своих стихах, а неким символом.

Внешне стихи многих поэтов были автобиографичны. Там присутствовали и наименование места, где родился автор, и перечень городов, где он побывал, и некоторые события его жизни.

И все-таки эти стихи были бесплотны. Некоторых наиболее талантливых их авторов можно было различить по манере письма. Но по манере мышления различить их было довольно-таки трудно.

Авторы их не ощущались как живые, реально существующие люди, ибо все реально существующие люди мыслят и чувствуют неповторимо.

Внешняя автобиография ничего не означает без автобиографии внутренней: автобиографии чувств и мыслей.

Творчество настоящего поэта – не только движущийся, дышащий, звучащий портрет времени, но и автопортрет, написанный так же объемно и экспрессивно.

То, против чего я борюсь, – ненавистно многим людям.

То, за что я борюсь, – дорого тоже многим.

Есть люди, которые вносят в общество свои личные идеи и вооружают этими идеями общество. Это, наверно, высшая ступень творчества. Я не принадлежу к таким людям.

Моя поэзия – лишь выражение тех новых настроений и идей, которые уже присутствовали в нашем обществе и которые только не были поэтически выражены. Не будь меня – их бы выразил кто-то другой.

Не противоречу ли я своим предыдущим словам о том, что поэт – это прежде всего индивидуальность?

Нисколько.

На мой взгляд, только в резко очерченной индивидуальности может соединиться и сплавиться воедино что-то общее для многих людей.

Мне бы очень хотелось всю жизнь выражать еще не высказанные идеи других людей, но в то же время оставаться самим собой. Да, впрочем, если я не буду самим собой, я не смогу их выразить.

…Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня повыше.

Я хотел увидеть Сталина.

И когда, вознесенный в отцовских руках над толпой, я махал красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня.

И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы

своей знаменитой улыбкой.

Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием – по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием.

Многие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер: «Да здравствует Сталин».

Понимал ли народ, что на самом деле происходило?

Я думаю, что в широких массах – нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало его сердце. Это было бы слишком страшно.

Народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой. Он ожесточенно работал, заглушая грохотом станков, тракторов, бульдозеров стоны, доносящиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.

Но все-таки совсем не думать было невозможно.

Надвигалась самая страшная опасность в истории каждого народа – несоответствие между жизнью внешней и внутренней.

Это было заметно и нам, детям. Нас тщательно оберегали родители от понимания этого несоответствия, но тем самым еще больше подчеркивали его.

Мои отец и мать познакомились в геологоразведочном институте, где они вместе учились. Это были двадцатые годы.

Тогда в высшие учебные заведения принимались в основном дети рабочих и крестьян. Это было совершенно естественной реакцией на то, что в годы царизма получали образование в основном дети обеспеченных родителей. Справедливость восстанавливалась. Но, как часто бывает, при слишком горячем восстановлении справедливости допускается новая несправедливость.

Евгений Евтушенко на станции «Зима».

Вот что сказала станция Зима:
«Живу я скромно, щелкаю орехи,
тихонько паровозами дымлю,
но тоже много думаю о веке,
люблю его и от него терплю.
Ты не один такой сейчас на свете
в своих исканьях, замыслах, борьбе.»

(Евгений Евтушенко. Из поэмы «Станция „Зима“». 1955 г.)

На русском языке это получило четкое и образное

определение «перегиб».

При перегибе в системе приема дети интеллигентов выглядели в высших учебных заведениях белыми воронами. Это случилось и с моим отцом.

Однажды на комсомольском собрании в институте его обвинили в буржуазных настроениях за то, что он… носил галстук.

(Отец, улыбаясь, рассказал мне это, когда мы с ним безуспешно пытались пройти вечером в один московский ресторан – безуспешно, потому что на нас не было галстуков.)

Однако галстук отца не помешал ему подружиться с худенькой девушкой, которая из революционной принципиальности носила мужскую красную косоворотку и сапоги, – моей матерью. Вскоре они поженились.

Моя мать, родившаяся в Сибири, не была такой начитанной, как отец, но она зато хорошо знала, что такое земля и что такое труд.

И я благодарен отцу за то, что он привил мне с детства любовь к книгам, а матери за то, что она привила мне любовь к земле и труду. Наверно, до конца моей жизни я буду ощущать себя полуинтеллигентом-полукрестьянином.

Я знаю, что первое обстоятельство, может быть, ограничивает меня, но зато я уверен, что второе всегда спасает меня от недостойной формы интеллигентности – снобизма.

Как я уже сказал выше, отец мой был человеком начитанным. Это относилось и к истории. Отец мог часами рассказывать мне, еще совсем несмышленому ребенку, и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой розы, и о Вильгельме Оранском…

Отец читал мне много и стихов наизусть – у него была потрясающая память! Особенно он любил Лермонтова, Гете, Эдгара По, Киплинга. «Завещание сыну» Киплинга он читал мне так проникновенно, как могут читать только свои собственные стихи. Отец и сам писал стихи. Без сомнения, он обладал подлинным дарованием.

Четыре строчки, написанные им в четырнадцать лет, до сих пор поражают меня своей отточенностью:

…Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то,
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата.

Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать и

в восемь лет залпом читал без разбора – Дюма, Флобера, Шиллера, Бальзака, Данте, Мопассана, Толстого, Боккаччо, Шекспира, Гайдара, Лондона, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечая никого и ничего вокруг.

Я даже не замечал, что мои отец и мать разошлись и только скрывают это от меня…

…В сорок четвертом году мама и я возвратились из Сибири в Москву. Мама сразу уехала на фронт с концертной бригадой.

И однажды я впервые увидел наших врагов. Если не ошибаюсь в цифре – около двадцати тысяч немецких военнопленных должны были пройти по улицам Москвы в одной колонне.

Все мостовые были оцеплены солдатами и милицией и заполнены народом.

В основном это были женщины.

Русские женщины с руками, потрескавшимися от тяжелых работ, с губами, не привыкшими к помаде, с худыми сутулыми плечами, на которых они вынесли полтяжести войны. Наверно, у каждой из них немцы убили или отца, или мужа, или брата, или сына.

Женщины с ненавистью смотрели туда, откуда должна была вот-вот появиться колонна военнопленных.

Наконец она появилась.

Впереди шли генералы, надменно подняв массивные подбородки. Углы их губ были презрительно поджаты. Они всем своим видом старались показать аристократическое превосходство над победившими их плебеями.

– Одеколоном пахнут, сволочи! – ненавидяще сказал кто-то в толпе.

Рабочие руки женщин медленно сжимались в кулаки.

Солдаты и милиция уже из последних сил сдерживали их.

И вдруг я увидел, как одна немолодая женщина в грубых сапогах положила руку на плечо милиционера:

– Пропусти!

И что-то в ней такое было, в этой женщине, отчего милиционер отодвинулся.

Женщина подошла к колонне, вынула из-за пазухи что-то обмотанное в ситцевый платок, развернула. В платке была горбушка черного хлеба.

Женщина неловко сунула хлеб в карман измученного, еле держащегося на ногах солдата.

И вдруг со всех сторон к солдатам бросились женщины и стали им совать хлеб, папиросы…

Это были уже не враги.

Это были люди…

…С фронта приехала мама.

Она выглядела очень странно – худенькая-худенькая, с черными, непохожими на прежние светлые, волосами.

Сначала я думал, что она покрасила волосы. Я спросил у нее об этом.

Мама грустно улыбнулась и сняла с себя парик. На ее голове топорщился мальчишеский ежик. Мама заболела на фронте тифом, а в военных госпиталях стригли наголо. У мамы что-то случилось с голосом. Она пела на фронте по нескольку раз в день, стоя то на грузовике, то на танке перед солдатами, которые после этого шли умирать.

Мама рассказывала, что это были самые благодарные слушатели.

Мама пела им и в дождь, и в метель, согреваясь иногда только водкой из чьей-нибудь солдатской фляжки.

И ее голос, такой красивый и сильный, стал слабеть. Голос не выдержал.

По возвращении мама нашла работу; где – она мне не говорила.

Потом мальчишки из нашего класса спросили меня:

– Твоя мама певица?

– Певица, – гордо ответил я.

– А где она выступает?

– Я не знаю, наверно, в театре…

– В театре… – хмыкнули мальчишки. – Она в кино поет, в «Форуме»…

Был День Победы.

Ракеты одна за другой взвивались в небо. Мальчишки бегали по тротуарам, стараясь поймать их ослепительные брызги.

Люди обнимали друг друга, плакали и смеялись. Людям казалось, что все испытания остались позади и теперь начнется удивительно безоблачная жизнь.

А я пошел в кинотеатр «Форум».

Фойе было набито битком солдатами и женщинами. Пахло пивом и дешевыми духами. Из рук в руки ходили принесенные с собой бутылки водки. Пили прямо из горлышка, закусывая жадными поцелуями… Сегодня разрешалось все.

Никому не было дела до оркестрика, игравшего бравурные марши на крошечной эстраде.

Я вздрогнул.

На эстраду вышла женщина в платье, осыпанном блестками, в позолоченных туфлях и с густыми черными волосами, под

которыми – я уже знал – был только застенчивый мальчишеский ежик.

Это была мама. Мама подошла к микрофону и стала петь. Голос ее был неуверен, и трудно было догадаться о его прежней красоте.

Никто не слушал маму.

Предпочитали целоваться и пить, пить и целоваться. Ведь была Победа! И за эту Победу 20 миллионов человек отдали свои жизни, а моя мама – свой голос.

Потом мы шли с мамой по ночной Москве сквозь крики, смех и музыку. Я нес мамин чемоданчик, в котором были сложены ее платье с блестками и позолоченные туфли. На маминых ногах снова были солдатские сапоги.

– Я плохо пела? – спросила меня мама.

– Нет, что ты, очень хорошо, – торопливо ответил я.

Мама посмотрела на меня долгим взглядом и грустно погладила по голове.

Вскоре она сошла со сцены и стала работать рядовым концертным администратором. Это была нервная, изнуряющая работа, а денег она приносила очень мало – 700 рублей в месяц. И вот на эту зарплату мама воспитывала меня и мою сестренку Елену, появившуюся во время войны.

Маме приходилось трудно со мной.

Характер у меня был ужасный – меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории.

Евгений Евтушенко с родителями. 1940-е гг.

То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами.

И отовсюду меня выволакивала мама.

Мама хотела от меня, чтобы я учился, учился и учился.

А учился я необыкновенно плохо.

К некоторым предметам я вообще был неспособен – например, к физике. Я до сих пор, кстати, не могу понять, что такое электричество и откуда оно берется.

Плохие отметки у меня всегда были по устному русскому. Писал я почти без ошибок, и мне казалось бессмысленным заучивать грамматические правила, если я и так пишу правильно.

Уже в школе начиналась – конечно, только в зародышевой форме – дифференциация моего поколения. За школьными партами сидели маленькие правдоискатели, маленькие герои, маленькие циники и маленькие догматики.

Я уже тогда не любил бездельничающих циников, иронически издевающихся надо всем и всеми, но точно так же терпеть не мог бессмысленно трудолюбивых тихонь, принимающих все на веру.

Сидя за партой под портретом Сталина, я жадно вглядывался в окно, где в воздухе медленно кружились белые хлопья.

И я удирал в другую школу – шумную школу города, где пахло снегом, сигаретами, бензином и дымящимися пирожками, которые продавали раскрасневшиеся от мороза лоточницы.

Возвращаясь домой, я садился за письменный стол, прилежно раскладывал ученические тетради, и, как только довольная мной мама оставляла меня, я писал стихи, пытаясь придумать в них себе какую-то другую жизнь. Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала. В день иногда я писал по 10–12 стихотворений. Я бомбардировал своими стихами все редакции и неизменно получал отказы. Представляю себе, что подумала редакция «Пионерской правды», получив от школьника такого рода стихи:

Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.

Однажды я собрал все свои стихи в большую тетрадь и послал их в редакцию издательства «Молодая гвардия».

И наконец получил ответ с просьбой зайти. Подписано письмо было поэтом Андреем Досталем. Я зашел.

Андрей Досталь, худощавый молодой человек с повязкой на глазу, делавшей его похожим на пирата, удивленно спросил:

– Вы к кому, мальчик?

Я показал ему письмо.

– А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти? – спросил Досталь.

– Это я написал, а не мой папа, – нервно ответил я, судорожно сжимая в руках школьный портфель.

Досталь недоуменно посмотрел на меня. Потом расхохотался:

– Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убеленного сединами мужчину, прошедшего огонь и воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания, и любовные трагедии…

Находившиеся в комнате люди тоже смотрели на меня и улыбались.

Мне казалось, что надо мной потешаются. Мои глаза медленно наливались слезами.

Но Досталь, почувствовав это, обнял меня, усадил рядом и стал говорить мне о присланной тетради. Впоследствии мы подружились с ним. Он сам был небольшим поэтом, но любил поэзию и хотел видеть во мне то, что не смог осуществить сам. Вообще, в моей поэтической биографии мне помогли именно небольшие поэты. Они часто внимательнее, нежнее «больших». Но напечатать стихи мне все же не удавалось.

Однако на моем столе всегда лежал «Мартин Иден» Джека Лондона, и его первые страницы были для меня вдохновением и помощью. Тогда самым главным в «Мартине Идене» для меня были первые страницы. Теперь – последние.

Мама не хотела, чтобы я стал поэтом.

Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт – это что-то неустроенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности, была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о гибели многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным.

Но самым серьезным мне казалось именно это.

И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего.

…Я сражался в школе с ябедами, подхалимами,

любимчиками.

Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.

Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.

Я поехал к отцу в Казахстан.

Мне было пятнадцать лет.

Я хотел стать самостоятельным человеком.

Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций.

Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: «Ну вот что… Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец».

Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции.

Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.

Я вернулся к маме загорелый и возмужавший.

После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то.

Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет.

Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непереводимые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания.

Но мама плакала.

И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда…

Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.

– Как хорошо, что у нас теперь есть деньги, – сказала мама. – Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры.

– Нет, мама, – сказал я твердо. – На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.

– Какой ты стал жадный, – горько сказала она.

– Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру, – ответил я.

И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова

бомбардировать редакции стихами. Но пишущая машинка не помогала – стихи не печатали. Кроме того, у меня была еще одна страсть – футбол.

Ночью я писал стихи, а днем играл в футбол – во дворах, на пустырях. Я возвращался в изодранных ботинках, в разорванных брюках, из которых торчали кровоточащие коленки. Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу.

Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить «мертвый» гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря – все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию.

Футбол меня многому научил.

Потом я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны.

Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе…

В футболе во многом легче. Если ты забил гол, тому есть прямое доказательство – мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно.

Евгений Евтушенко читает стихи. 1970-е гг.

И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами.

Спорт, несмотря на все махинации и грязь, вообще более чистая штука, чем литература.

И мне иногда очень жаль, что я не стал футболистом.

А я им чуть-чуть не стал.

В одном из матчей мальчишеских команд я особенно отличился. Я взял подряд три пенальти. После матча ко мне подошел тренер одной знаменитой команды и попросил зайти «на пробу». Все мальчишки отчаянно завидовали мне.

Но произошло одно событие, которое определило мою судьбу.

Я давно собирался отнести свои стихи в редакцию газеты

«Советский спорт». Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов.

Я пришел туда после матча, в выцветшей синей майке, спортивных шароварах, рваных тапочках. В руках у меня было стихотворение, где подвергались сравнительному анализу нравы советских и американских спортсменов. Стихотворение было написано «под Маяковского».

Редакция «Советского спорта» помещалась в большой комнате на Дзержинке, где в табачном тумане несколько мистически вырисовывались какие-то стучащие на машинке, скрипящие авторучками, шуршащие гранками фигуры.

Я робко спросил, где отдел поэзии. Из тумана мне рявкнули, что такого отдела вообще нет.

Но вдруг из тумана высунулась рука, добро легла мне на плечо, и чей-то голос спросил:

– Стихи? Покажите мне, пожалуйста…

Я сразу поверил этой руке и этому голосу.

И не ошибся.

Передо мной сидел черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами. Звали его Николай Александрович Тарасов. Он заведовал сразу четырьмя отделами: иностранным, партийным, футбольным и литературным.

Тарасов посадил меня рядом, пробежал глазами стихи.

Потом спросил:

– Еще есть?

Я достал из-за пояса замусоленную тетрадочку и стыдливо сказал:

– Только это не о спорте…

Тарасов улыбнулся:

– Тем лучше…

Он стал читать вслух стихи, не обращая внимания на трескотню пишущих машинок. Потом подозвал какую-то женщину и прочитал ей строчку, где виноградная гроздь сравнивалась со связкой воздушных шаров.

Потом он стал снова читать стихи вслух.

Вокруг стола столпилось уже много людей – журналистов, фотографов, машинисток. Они слушали.

Наконец Тарасов обвел глазами всех и спросил:

– Ну как – будет писать?

– Будет! – хором ответили все.

Чья-то рука хлопнула меня по плечу:

– Будет!

– Я тоже так думаю, – сказал Тарасов, улыбаясь.

До сих пор я удивляюсь, как эти люди могли угадать во мне

поэта. Видимо, им помогло то, что они не занимались собственно литературой и их головы не были захламлены всякого рода предвзятостями.

Все разошлись по своим столам.

Мы остались одни с Тарасовым.

Он взял мое стихотворение «Два спорта».

– Это самое плохое. Но оно для нас…

И написал на нем магическое, столь долгожданное мной: «В набор». И оно уплыло куда-то.

– Не думайте, что другие стихи очень хорошие. Но в них есть строчки – крепкие строчки.

Я глубокомысленно сделал вид, что понимаю выражение «крепкие строчки».

– Кого вы любите из поэтов? – быстро спросил Тарасов.

Я выдавил:

– Маяковского…

– Хорошо, но мало… Пастернака знаете?

– Знаю.

– Врете! А если и знаете, то знаете…

И он стал на память читать мне строки Пастернака, действительно неизвестные мне.

– Николай Александрович, опять вы Пастернака читаете! – шутливо пригрозила ему машинистка, иронически показывая на дверь, где крупно было написано «Редактор».

– Слава богу, мы все-таки в спортивной редакции, – усмехнулся Тарасов.

Он склонился со мной над тетрадкой и стал объяснять мне, что хорошо и что плохо. Особенно он не выносил вялости, водянистости. Все экспериментальное, находящееся иногда даже на грани безвкусицы, хвалил.

Потом спросил меня:

– Вы куда-нибудь торопитесь? Я хочу познакомить вас с одним моим другом, физиком.

Тарасов позвонил куда-то. Через некоторое время в редакцию пришел бледный человек тоже лет тридцати, с огромным лбом, судорожными движениями. Под мышкой он держал шахматную доску.

– Это мой друг – физик Володя Барлас, – сказал Тарасов. – А это поэт Евгений Евтушенко…

Тарасов был первым человеком, который назвал меня поэтом.

– Поэт? – недоверчиво поднял брови Барлас. – Это, знаете ли, многое… – И недоверчиво хмыкнул.

Мне он сначала почему-то показался ненормальным.

Мы вышли втроем из редакции в шумящую молодой

июньской листвой Москву 1949 года.

– Поэт, – задумчиво повторил Барлас. – Ну а что же вы хотите сказать миру?

– Он хочет сказать миру, что он поэт. Это уже кое-что для начала, – защищал меня Тарасов.

Он волновался.

Видимо, этот странный человек с шахматной доской под мышкой и с огромным марсианским лбом многое означал для него. И видимо, для Тарасова уже кое-что означал и я.

Продолжая идти, я стал читать стихи: одно, второе, третье.

– Ну вот что, – наконец сказал Барлас, пронзительно глядя на меня, – конечно, вы талантливы… У вас есть напор, есть какой-то звон и гуденье в строчках… Но я пока не вижу за вашей душой ничего, кроме желания убедить мир, что вы талантливы. Мир еще, разумеется, не убежден в этом, и сделать это будет не так легко. Но, предположим, мир поверит в вас. Мир будет ждать от вас каких-то очень важных слов. Что вы скажете?

– Володя, ему же только пятнадцать лет… – снова вступился за меня Тарасов.

– Надо об этом думать уже сейчас. Потом поздно будет, – жестко сказал Барлас.

– Все придет само собой. Главное для него – писать и ни о чем не думать. Ты слишком преувеличиваешь рациональное начало в поэзии, – возражал Тарасов.

– Само собой ничего не приходит… Эмоции – это прекрасно. Но только эмоции – это все-таки очень мало.

Я навсегда благодарен судьбе за то, что она послала мне встречу с этими людьми, во многом определившую мой дальнейший путь. Оба они хотели когда-то стать писателями, и у них это пока не получилось. Они видели во мне как бы свою неосуществленную молодость и хотели, чтобы надежды их молодости осуществились во мне. Мы бродили втроем всю ночь. И, расставаясь уже на рассвете, Тарасов ласково сказал мне, глядя на часы:

– Ну, через час газета с вашими стихами уже выйдет.

– Помните, что вы уже перестаете принадлежать только себе, – продолжал Барлас.

Но я не обратил внимания на его тревожные слова.

Я расстался со своими новыми друзьями и плутал по московским улицам, с трепетом ожидая мгновения, когда откроются газетные киоски, вместе с пьяницами, ожидавшими открытия пивных ларьков.

В семь часов утра я выхватил из рук продавца еще пахнущий типографской краской «Советский спорт», распахнул его и увидел

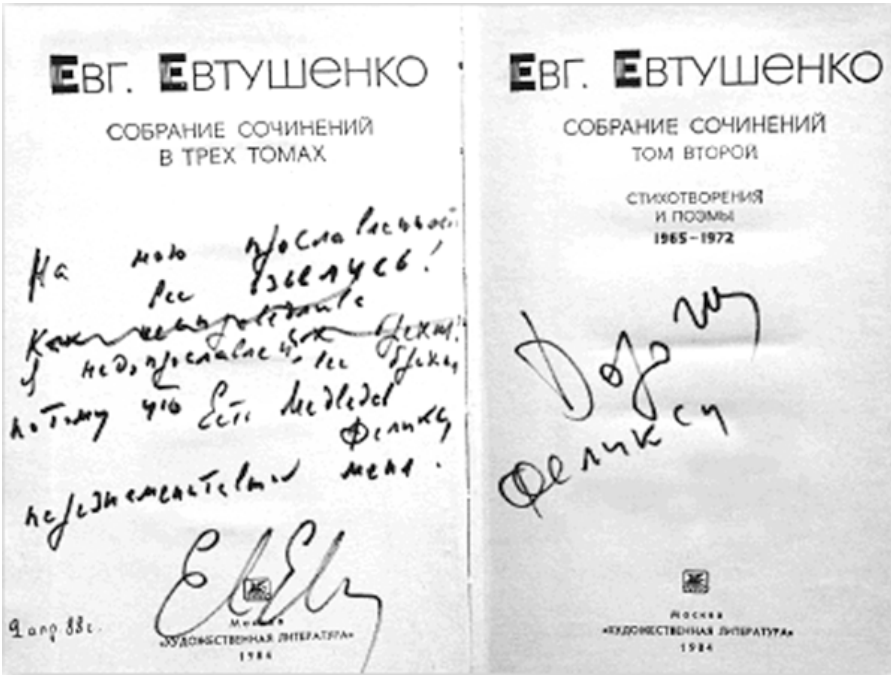
стихотворение и свою фамилию под ним.

Я купил все экземпляры в киоске – штук пятьдесят! – и, размахивая ими, зашагал по улице.

Земля гудела у меня под ногами.

Я казался себе гением.

– Почитайте, тут есть кое-что интересное, – говорил я, даря газеты незнакомым прохожим, таращившим на меня глаза.



Феликс уверен, что автограф считается полноценным, если в нем содержится не менее 17 слов.

Евгений Александрович не готовился к этой дарственной надписи, но в ней и впрямь семнадцать слов

Я пришел к маме и торжествующе раскрыл перед ней газету. Не сказал бы, чтобы мама реагировала радостно.

– Да, с сегодняшнего дня ты окончательно погиб, – вздохнула мама.

Может быть, она и была права.

Днем Тарасов устроил мне, чтобы я получил гонорар – 350 рублей.

Паспорта у меня еще не было, и я получил гонорар по метрическому свидетельству.

Девушка из бухгалтерии еле сдерживала смех, разглядывая мою майку, рваные тапочки и нелепо облупленный солнцем нос.

– Он похож на гадкого утенка, – услышал я за своей спиной хихикающий голос. Но я засунул деньги в шаровары, вежливо попрощался и ушел с видом лебедя, которого еще поймут.

Я слышал от мамы и читал в книгах, что все поэты пьяницы.

Поскольку теперь я был поэтом, то я решил пропить свой гонорар. Я посоветовался, как это лучше сделать, со своим другом – пятнадцатилетним сыном нашего дворника. Он солидно сказал, что надо, конечно, пойти в ресторан, и, разумеется, с женщинами.

На роли женщин мы пригласили двух семнадцатилетних девочек, одна из которых работала в парикмахерской, другая – фрезеровщицей на заводе, и отправились по их рекомендации в ресторан «Аврора».

Этот крикливый и безвкусный ресторан, с гигантскими кариатидами и амурами, порхающими по потолкам, казался мне каким-то иным, волшебным миром.

Я рассматривал меню и, увидев надпись «сухое вино», немедленно потребовал его. Когда принесли бутылку, я страшно разочаровался. Я был уверен, что это вино в таблетках.

В общем, девчонки доставили меня к маме только под утро. Меня выворачивало наизнанку после волшебного мира.

Мама плакала. Я совсем забыл, что в десять часов утра у меня была назначена проба на стадионе.

Я поднялся с разламывающейся головой, кое-как оделся и поплелся туда.

Я встал в ворота, ничего не соображая.

Мяч двоился и троился в моих глазах.

Я не мог отразить ни одного удара.

Тренер подошел ко мне и участливо спросил:

– Ты болен? – Но, наклонившись ко мне, он потрясенно отшатнулся.

Тренер простер руки и, обращаясь к замершим футболистам, произнес:

– В десять часов утра! Пятнадцатилетний ребенок совершенно пьян! Мне стыдно жить в этом растленном веке!

Так бесславно закончилась моя футбольная карьера.

Как я уже сказал, Владимир Барлас и Николай Тарасов, встреченные мной в сорок девятом году, и их школьный друг Лев Филатов сыграли огромную роль в моем человеческом и поэтическом формировании.

Я просто не понимаю, как им не надоело нянчиться со мной при моем непоседливом характере.

Барлас был для меня живой библиотекой. Он открыл мне первоосновы современной философии. Он открыл мне, что существует Хемингуэй. Это только сейчас Хемингуэй издается в

России миллионными тиражами. Тогда его книги были библиографической редкостью. «Прощай, оружие!», «Фиеста», «Иметь и не иметь», «Снега Килиманджаро» потрясли меня своей предельной сжатостью, концентрированной мужественностью.

Позднее моей любимой книгой Хемингуэя стал роман «По ком звонит колокол». На Западе некоторые считают, что этот роман второстепенен. Может быть, я слишком пристрастен, но образы старухи и девушки мне кажутся до сих пор одними из самых пронзительных образов в мировой литературе. А образ Марти, гениально ставящий проблему того, что фанатики, даже при всей их объективной честности, часто становятся преступниками! В этом образе предугадано многое, что случилось потом в истории…

Барлас открыл мне бывшие тогда тоже библиографической редкостью книги таких разных писателей, как Гамсун, Джойс, Пруст, Стейнбек, Фолкнер, Экзюпери…

Я был зачарован почти библейской метафоричностью «Так говорил Заратустра» Ницше и был потрясен, когда узнал, что книгами Ницше пользовались как идейным оружием фашисты.

Я был подавлен духовной высотой «Волшебной горы» Томаса Манна, сложенной, как из камней, из страданий человечества. Упивался размахом Уитмена, буйством Рембо, сочностью Верхарна, обнаженным трагизмом Бодлера, колдовством Верлена, утонченностью Рильке, жуткими видениями Элиота…

Классики русской литературы, казавшиеся мне скучными из-за неумелого преподавания в школе, становились для меня близкими, живыми людьми, раскрывались мне в красоте своего языка и глубине.

Надоевший в школе, как ежедневная гречневая каша, Пушкин разбил молодым веселым кулаком стекло своего официального портрета и вышел ко мне из рамы лукавый, дерзкий, пахнущий снегом и шампанским. Его трагический антидвойник – Лермонтов вынесся ко мне из страниц хрестоматий на взмыленной лошади, в дышащей Кавказом и порохом бурке. Обведенные темными тенями провидческие глаза Блока, растерянно кричащие детски-голубые глаза Есенина, мятежно насмешливые и в то же время горько обманутые глаза Маяковского взглянули на меня в упор.

Пастернака я тогда не понимал. Он был для меня чересчур усложненным, и я терял нить мысли в хаосе его образов. Барлас по нескольку раз читал мне его стихи, с огромным терпением объясняя, растолковывая. Я необыкновенно переживал, что ничего не понимаю. Мне всегда была чужда высокомерная поза людей, которые, не понимая того или иного художника, обвиняют в этом не себя, а его.

И однажды со мной случилось чудо – Пастернак вдруг обрел для меня прозрачность, и с тех пор он мне кажется одним из самых простых, как небо и земля, поэтов.

Итак, это время было временем начала моего литературного образования с подаренными мне судьбой прекрасными учителями. На том, что я писал тогда, это еще не отражалось. Мое литературное образование и моя литературная жизнь развивались параллельно, не совмещаясь. После первой публикации я начал печататься в газете «Советский спорт» чуть ли не ежедневно. Я писал стихи, посвященные футболу, волейболу, баскетболу, боксу, альпинизму, гребле, конькобежному спорту, а также стихи к различным датам: к Новому году, к Первому мая, к Дню железнодорожника, к Дню танкиста и т. д. Этот вид газетной поэзии к датам был весьма распространен в нашей стране и, к сожалению, по сей день не изжит. Но для меня это вовсе не было холодной халтурой.

Писал я лихо, с задором.

Мышление мое еще созревало, я просто наращивал поэтические мускулы. Как гантелями, я играл аллитерациями, рифмами, метафорами.

Тарасов был прекрасным тренером в этом смысле. А то, о чем я писал, мне было не важно.

Но невинная ребяческая забава грозила незаметно превратиться в саморастление.

Я помню, как однажды Тарасов вызвал меня по телефону в редакцию. У меня шли в номере очередные первомайские стихи.

– Женя, главный редактор в панике, – неловко улыбаясь, сказал Тарасов. – Обнаружилось, что в ваших стихах нет ни слова о Сталине… А снимать стихи уже поздно.

– Что же делать? – спросил я.

– Знаете, Женя, чтобы вас не мучить, я сам за вас написал четыре строчки.

– Ладно, валяйте, – весело сказал я. Мне было все едино – со Сталиным или без Сталина.

Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине. Это мне казалось даже естественным.

Теперь мне уже не надо было вписывать эти строчки – я писал их сам.

Я стал заправским газетным поэтом.

Уже все московские газеты в праздничные дни пестрели моими звонкими и пустыми, формальными упражнениями.

Мне показалось, что я продолжаю Маяковского. Но это мне только казалось.

На самом деле я учился не у Маяковского, а у Семена Кирсанова, удивительно талантливого поэта-экспериментатора, у которого были и настоящие вещи, но который тогда печатал в газетах массу эффектных, хотя и пустоватых стихов…

– Женя, вы уже научились тому, как писать, – сказал мне как-то Тарасов, – теперь нужно думать о том, что писать.

Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский на съемках фильма «Застава Ильича».

Фотограф Г. Перьян. 1961 г.

Барлас неодобрительно покачивал головой:

– Женя, хватит баловаться. Неужели я вам зря давал все эти книги?

Тогда я решил пойти к моему тогдашнему кумиру – Кирсанову, надеясь получить у него внутреннюю поддержку.

Уже седеющий поэт грустно посмотрел на меня.

– Вы думали, наверное, что мне понравятся ваши стихи, потому что они похожи на мои? – спросил он. – Но именно поэтому они мне и не нравятся. Я, старый формалист, говорю вам: бросьте формализм. У поэта должно быть одно непременное качество: он может быть простой или усложненный, но он должен

быть необходим людям… Настоящая поэзия – это не бессмысленно мчащийся по замкнутому кругу автомобиль, а автомобиль «скорой помощи», который несется, чтобы кого-то спасти…

Меня задели до глубины души слова Кирсанова, но сила инерции была слишком велика. Я не мог остановиться.

В 1952 году вышла моя первая книжка «Разведчики грядущего», изданная в голубенькой обложке, соответствующей ее содержанию.

Пресса мою книгу весьма расхвалила, но, зайдя в книжный магазин, я увидел ряды моих «Разведчиков грядущего» в целомудренной неприкосновенности.

Вдруг какой-то парень, перебиравший поэтические сборники на прилавке, дошел и до моей книжки. Я с надеждой замер. Парень полистал книгу, потом, вздохнув, положил ее в общую гору.

– Не то, – сказал он продавщице. – Да все это разве стихи? Барабанный бой!

Это меня убило.

Вернувшись домой, я перечитал заново книгу и вдруг с предельной отчетливостью понял, что она никому не нужна.

Кому может быть дело до красивых рифм и броских образов, если они являются только завитушками вокруг пустоты? Что стоят все формальные поиски, если из средства они перерастают в самоцель?

Я вышел из дому и побрел, одинокий, сквозь огни. По улицам шли люди, возвращающиеся с работы, усталые, неся в руках хлеб и картонные коробки пельменей. Годы строек и войны, годы великих побед и великих обманов наложили на их лица свою трагическую тень. В их усталых взглядах и ссутуленных спинах было сознание невозможности что-то понять. Им нужно было нечто совсем другое, чем мои красивые рифмы.

Некоторое время я вообще ничего не мог писать. Я поступил в Литературный институт и жил на стипендию. Меня приняли в Литературный институт без аттестата зрелости и почти одновременно в Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу. Но я знал ей цену. И я хотел писать по-другому. Я писал о своих сомнениях в себе, о своем ожидании большой любви и о разнице между подлинным и ложным, о страданиях и о горестях людей.

Когда я стал приносить в редакции свои новые стихи, то там не верили своим глазам. «Что с тобой случилось!» – недоуменно воскликнул завотделом поэзии одной из газет. Молодой поэт К., который всегда восторженно печатал мои прежние стихи на

международные темы или стихи к праздникам, сказал: «Меня тревожит твоя грусть. Не стал ли ты преждевременно стариком, Женя? Нам нужны бодрые, зовущие вперед стихи».

Я не стал стариком. Я просто повзрослел. Этому человеку не было дано самому ощутить состояние повзросления, и он принимал повзросление других за преждевременную старость. Раздумья с оттенками грусти ему казались опасным пессимизмом. Но разве подлинное раздумье вообще возможно без грусти! Люди, видящие в грусти нечто опасное, сами представляют собой огромную опасность для человечества. Бодрячество лишь создает видимость того, что оно куда-то зовет. Бодрячество, вместо того чтобы двигать вперед людей, заставляет их плясать на месте. Как прекрасно сказал наш мудрый поэт Светлов: «Не надо уподобляться одному моему знакомому паровозу, который, вместо того чтобы расходовать пар на движение, тратит его на восторженные свистки!». Назойливо румяное бодрячество, выставляющее напоказ бицепсы, на самом деле демобилизует и разлагает. А кажущаяся беспомощным созданием грусть, если она чиста и благородна, а не мелкосентиментальна, зовет нас вперед и своими тоненькими хрупкими руками создает величайшие духовные ценности человечества.

И поэт К. ошибался, встревоженный грустными нотками моих стихов, что я стал пессимистом.

Я остался оптимистом, как и прежде. Но раньше мой оптимизм был розовый. Теперь в нем были все существующие цвета спектра, включая и черный.

Но за такое понимание оптимизма надо было бороться.

Я столкнулся с довольно ощутимым сопротивлением и почти ничего не мог напечатать. В нашей литературной критике господствовала тогда пресловутая теория бесконфликтности. Ее авторы договорились до того, что в нашей советской жизни не может быть конфликта хорошего с плохим, а только хорошего с лучшим.

С обложек книг глядели бездушно улыбавшиеся рабочие и колхозники.

Почти все повести и романы оканчивались счастливыми развязками.

Темами полотен художников все чаще являлись правительственные банкеты, свадьбы, торжественные собрания и шествия.

Апофеозом этого направления явился один фильм, где в финале было изображено грандиозное пиршество тысяч колхозников на фоне электростанции.

Недавно я разговаривал с режиссером, поставившим этот фильм, – человеком умным и талантливым.

– Как вы могли поставить такой фильм? – спросил я. – Правда, я тоже писал такого рода стихи, но ведь я был сопляком, а вы – уже серьезным, сформировавшимся человеком.

Режиссер грустно улыбнулся:

– Видите ли, самое страшное для меня самого, что я был совершенно искренен. Мне казалось, что все это нужно для строительства коммунизма. И потом – я верил Сталину.

Почему же обманывались даже умные, талантливые люди?

Во-первых, Сталин сам по себе был фигурой сильной и выразительной. Сталин умел очаровывать людей. Он очаровал и Горького, и Барбюса. В 37-м году – году самых страшных репрессий – он сумел очаровать даже такого видавшего виды и не склонного к романтизации человека, как Лион Фейхтвангер.

Во-вторых, имя Сталина в сознании советского народа было неразрывно связано с именем Ленина. (Напомню молодым читателям, что многие исторические факты о нетерпимости Ленина, порой переходившей в кровавую жестокость, тогда усиленно скрывались за семью печатями… – *Е. Е., 1998.)* Сталин всячески содействовал фальсификации истории, где его отношения с Лениным выглядели более дружескими, чем на самом деле.

Эта фальсификация зашла так далеко, что, может быть, и самому Сталину уже начинала казаться правдой.

Пастернак тоже поставил два этих имени рядом.

И смех у завалин,
и речь от сохи,
и Ленин, и Сталин,
и эти стихи.

Сталинская теория, что люди – это винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты.

Труд как символ становился выше тех, кто трудится.

Герои многих книг варили сталь, строили дома, сеяли пшеницу, но не думали, не любили, а если и делали это, то как-то безжизненно, неестественно.

Русская поэзия, так замечательно проявившая себя в годы войны, потускнела. Если иногда и появлялись хорошие стихи, то опять же о войне, о ней писать было проще.

Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов. Поэтому все магазины были завалены никому не нужными поэтическими

книгами. Покупались только «Строки любви» Щипачева и переиздания военной лирики Симонова.

Простое, трогательное стихотворение молодого поэта Ваншенкина о первой мальчишеской любви, появившееся на фоне индустриально-колхозной поэзии, вызвало чуть ли не сенсацию. За первые книги молодого поэта Евгения Винокурова, вихрасто непричесанные среди общей причесанности, тоже жадно ухватились – в них была теплота. Но это общего положения не меняло. Поэзия была непопулярна. Старые поэты молчали, а если иногда и писали – это было хуже молчания. Поэтическое поколение, родившееся на гребне войны и подававшее большие надежды, сникло. Мирная жизнь оказалась сложнее фронта.

Министр культуры Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный. Встреча Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией в Доме приемов ЦК КПСС на Ленинских горах. 1962 г.

Фотограф А. Устинов

Крупнейшие русские поэты – Заболоцкий и Смеляков – были в лагерях. Выслан был и молодой поэт Мандель (Коржавин). Не знаю, останется ли его имя в русской поэзии, но оно останется, безусловно, в истории русской общественной мысли.

Это был единственный после Мандельштама поэт, который при жизни Сталина написал и открыто читал стихи против Сталина. То, что Мандель читал их, его, видимо, и спасло, ибо

поэта, по всей вероятности, сочли ненормальным и всего-навсего выслали.

Цитирую так, как это когда-то ходило из уст в уста:

А там в Москве, в пучине мрака,
встал воплотивший трезвый век
не понимавший Пастернака
суровый, жесткий человек.

Замечательного поэта Леонида Мартынова после опубликования о нем статьи под заглавием «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов» несколько лет не печатали. Пастернак и Анна Ахматова занимались переводами. Поэтические вечера были редкостью и не привлекали внимания публики.

Некоторые поэты писали стихи, рассчитанные не на успех у читателей, а на получение Сталинской премии.

Однажды случайно я попал на заседание президиума правления Союза писателей, посвященное выдвижению кандидатов на премию. Меня потрясла почти коммерческая основа обсуждения.

Мне показалось, что здесь забывают о самом главном в литературе – нужны ли обсуждаемые книги людям? Я помню, как вдруг поднялся с места Твардовский и с раздраженностью пристыдил ораторов, славословящих по адресу одного поэта:

– Да на что вы время тратите! Такие стихи я могу любого теленка обучить писать!

Обсуждавшийся поэт «не прошел». Что он испытывал после таких уничтожающих слов? Стыд? Сомнение в самом себе? Ничуть! Злобно посверкивая глазами, он сказал так, чтобы никто не слышал и в то же время слышали все: «Ничего, я еще ее получу!». Вечером после обсуждения я видел другого поэта, который тоже «не прошел». Напившись, он кричал на весь ресторан: «Ее дали мертвому! А на что она ему! Я живой – она мне нужна!».

Сталинская премия означала многое: немедленное переиздание огромным тиражом, портреты и восторженные статьи во всех газетах, какой-нибудь официальный пост, получение вне очереди машины, квартиры и, может быть, дачи.

А в то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканной военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для

спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио, и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатушку. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать.

И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча открыл свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.

– Я воевал, – сказал он, – и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!

Я понял.

Я продолжал писать, думая о дне, который придет, а не о том, напечатают стихи или нет.

Я не только писал стихи, но и выступал на различных литературных дискуссиях. У меня не было никакого ораторского опыта. Однажды по-петушиному сорвал голос, в зале стали смеяться, и я, залившись краской, скомкал конец речи. Во второй раз, когда я стал резко критиковать одного дважды лауреата, напечатавшего дрянные стихи в «Правде» (Н. Грибачев. Стихи были такие: «Но время не пятится раком, и вставшим со свалок гнилых уже не схватить вурдалакам за горло народов живых». – Е. Е., 1998), председатель, уже седой известный поэт (А. Сурков. – Е. Е., 1998), грубо оборвал меня, сказав, что мое время истекло.

Я остолбенело посмотрел на него – у меня еще оставалось пять минут по регламенту. Я не мог представить, что этот седой человек, знакомый мне с детских лет по портретам, лжет. И я подавленно сошел с трибуны.

Многие бездарные люди делали «литературную политику», привнося в нее всевозможные дурно пахнущие элементы, включая антисемитизм.

Поэт К. (Владимир Котов, автор песни «Не кочегары мы, не плотники». – Е. Е., 1998), с которым по прихоти судьбы меня связывала юношеская неразборчивая дружба, не был лишен этого, мягко говоря, недостатка. Он меня пытался убедить в том, что вся история оппортунизма, начинавшаяся с Бунда, а затем продолжавшаяся в Троцком, имеет определенную национальную подоснову. Я спорил с ним до хрипоты. Он упрекал меня в политической близорукости.

Однажды после такого спора он ночевал у меня. И утром

разбудил меня радостными криками.

В одних трусах он отплясывал чуть ли не африканский танец торжества, размахивая газетой, где было опубликовано сообщение об аресте врачей-отравителей:

– Видишь! А что я говорил? Это все евреи!

Надо сказать, что я поверил этому сообщению. Оно меня необыкновенно удручило, но все-таки не вызвало во мне антисемитизма, и радость поэта К. была мне неприятна.

В тот же день мы с поэтом К. пошли в кинотеатр, где шел старый фильм о революции. Один из эпизодов был о еврейском погроме в Одессе. И вот когда по экрану шли лавочники и уголовники под лозунгами «Бей жидов, спасай Россию!», с булыжниками, к которым прилипли окровавленные волосики еврейских детей, наклонясь к поэту К., я сказал:

– Неужели ты хочешь быть похожим на этих?!

И вдруг, отстранившись от меня, он холодно ответил с металлическими нотками в голосе:

– Мы – диалектики. Не все из прошлого надо отбрасывать, Женя.

Его глаза светились гитлерюгендским блеском.

На отвороте пиджака мерцал комсомольский значок.

Я смотрел на него в ужасе, не в состоянии понять, что за человек сидит рядом со мной.

Теперь, когда с той поры прошло десять лет, я понимаю, что главное преступление Сталина не только в том, что по его приказу арестовывали и расстреливали. Его не меньшее преступление – моральное растление душ человеческих. Конечно, сам Сталин теоретически не проповедовал антисемитизм, но это проповедовала сталинская практика. Сталин теоретически не проповедовал карьеризма, угодничества, жестокости, ханжеского лицемерия. Но все это тоже проповедовала сталинская практика.

Пятого марта 1953 года произошло событие, которое потрясло страну, – умер Сталин. Представить его мертвым было почти невозможно – настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни.

Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее.

На писательском митинге поэты прерывающимися от рыданий голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского – большого и сильного человека – дрожал.

Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина.

Я был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч

прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое, фантастическое зрелище. Люди, вливавшиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, что меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленькую девушку. Ее лицо исказилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и стонах. Меня притиснуло движением к этой девушке, и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в состоянии видеть ее безумно выкаченные детские голубые глаза. И меня пронесло мимо. Когда я открыл глаза, то девушки уже не было видно.

Фото со съемок фильма «Похороны Сталина», режиссером которого выступил Евгений Евтушенко. 1990 г.

Ее, наверно, подмяла под себя толпа. Прижатый к светофору, корчился какой-то другой человек, раскинув руки, как на распятии. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с одной стороны стенами зданий, с другой стороны – поставленными в ряд военными грузовиками.

– Уберите грузовики! Уберите! – истошно вопили в толпе.

– Не могу, указания нет! – растерянно кричал молоденький офицер милиции с грузовика, чуть не плача от отчаяния. И люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борта грузовиков были в крови. И вдруг я ощутил дикую ненависть ко всему, что породило это «указания нет», когда из-за чьей-то тупости погибали люди. И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог быть не виноват в этом. И именно это «указаний нет!» и породило кровавый хаос на его похоронах. Но отныне и навсегда я понял, что нечего ждать указаний, если от этого зависят жизни человеческие, – надо действовать. Не знаю, откуда во мне явились силы, но я, энергично работая локтями и кулаками, стал расшвыривать людей и кричать им:

– Делайте цепочки! Делайте цепочки!

Меня не понимали. Тогда я стал всовывать руки людей друг другу, ругаясь самыми страшными словами из моего геологоразведочного лексикона. Несколько крепких парней стали помогать мне. И люди поняли. Люди стали браться за руки, образовывая цепочки. Эти парни и я продолжали действовать. (Рядом оказался поэт Герман Плисецкий, который впоследствии написал об этом гениальное стихотворение «Труба». – Е. Е., 1998.) Водоворот стал утихать. Толпа перестала быть зверем.

– Женщин и детей в грузовики! – заорал один из парней.

И над головами, передаваемые из рук в руки, поплыли в кузова грузовиков женщины и дети. Одна из передаваемых на руках женщин билась в истерике, что-то выкрикивала. Офицер милиции гладил ее по голове, неумело успокаивая. Вдруг женщина вздрогнула несколько раз и затихла. Офицер снял фуражку, закрыл ею застывшее лицо женщины и заревел, как ребенок. А я увидел, что где-то впереди продолжается водоворот.

Мы пошли туда с этими парнями. При помощи мата и кулаков мы снова стали организовывать людей в цепочки, чтобы спасти их.

Милиция наконец тоже стала нам помогать. Все успокоилось.

Мне уже почему-то не хотелось идти к гробу Сталина. Мы с одним парнем (с Германом. – Е. Е., 1998) чудом выбрались из этого водоворота, купили поллитру водки и пришли ко мне домой.

– Ты видел Сталина? – спросила мама.

– Видел, – необщительно ответил я, чокаясь с этим парнем (с Германом. – Е. Е., 1998) граненым стаканом.

Я не соврал маме. Я действительно видел Сталина, потому что все произошедшее – это и был Сталин.

Этот день был переломным в моей жизни, а значит, и в моей поэзии.

Я понял, что за нас больше никто не думает, а может быть, за нас никто и не думал раньше. Я понял, что надо много думать самим, думать, думать, думать… Я не хочу сказать, что тогда я мгновенно осмыслил всю степень вины Сталина. Я еще продолжал некоторое время несколько идеализировать его. Многие сталинские преступления были еще неизвестны.

Арестованных врачей реабилитировали.

Это известие потрясло народ, в общем поверивший в их виновность. Доверчивый наш народ приходил к пониманию того, что доверчивость может стать опасной.

Я видел по-ястребиному хищное лицо Берии, закутанное в кашне, когда он приникал к стеклу машины, медленно ехавшей вдоль тротуара в поисках очередной женщины. После этого тот же самый человек обращался к народу, патетически говоря о коммунизме.

Пуля, всаженная в Берию, была справедливостью, но такой запоздавшей! Справедливость, перефразируя Цветаеву, это тот поезд, который почти всегда опаздывает.

Появлялись первые реабилитированные люди из дальних лагерей.

Они привозили с собой вести о гигантских размерах совершенных несправедливостей.

Народ напряженно думал. Это напряжение чувствовалось во всем.

Это напряжение не могли ослабить речи Маленкова – человека с бабьим лицом и хорошо поставленной дикцией, говорившего о том, что надо решить проблемы питания, костюмов и галантереи.

Я был растерян.

Но, может быть, эта смятенность существовала только в Москве – в центре захлестывающих друг друга, как волны, политических событий? А может быть, где-то в глубинах России царило духовное равновесие? Я поехал на станцию Зима. Я хотел уехать от моих раздумий, иногда меня пугавших. Но мои собственные раздумья я узнавал в разговорах соседей по вагону – инженеров, агрономов. И мои собственные раздумья я встретил на станции Зима, в первых вопросах моих двух дядьев – начальника местной автобазы и слесаря. Я приехал в родной край за ответом на все мучившие меня вопросы, а родной край ожидал от меня этих ответов. И в Москве, и на станции Зима думали об одном и том же. Вся Россия была как одно огромное раздумье, простиравшееся на тысячи километров от Балтики до Тихого

океана…

Но многих подстерегала огромная опасность – от слепой веры перейти к безверию. Особенно молодое поколение.

В 1954 году я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревовещательницы сказала:

– Революция сдохла, и труп ее смердит.

(Это была Юнна Мориц… – Е. Е., 1998.)

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

– Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой.

Интимная поэзия, бывшая чуть ли не запретным плодом при Сталине, заполнила все газеты и журналы, прорвав плотину. Но она не пользовалась особенным успехом. Перед лицом гигантских исторических процессов, происходящих в стране, интимная поэзия выглядела несколько инфантильно. Флейты уже были.

Нужна была боевая труба.

Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова была, если разобраться, флейтой, но молодежь услышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо большее, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, «удивительно мощное эхо – очевидно, такая эпоха!».

Действительно, даже тихо произнесенная правда приобретала мощь и грохот политического эха.

Один маститый (А. Сурков. – Е. Е., 1998), обращаясь к молодым писателям, однажды поучающе заявил:

– Зачем вы все куда-то так далеко ездите – в Сибирь, на Камчатку! Это все очень дорого стоит государству. Садитесь на трамвай, купите билет за пятнадцать копеек и поезжайте на московский завод.

Тогда встал один молодой писатель (Миша Рощин. – Е. Е., 1998) и, грустно глядя на маститого, сказал:

– Алексей Александрович, уже почти десять лет, как трамвайный билет стоит не пятнадцать копеек, а тридцать!

Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и воочию увидел это страшное место, Бабий Яр.

Я отнес стихотворение в редакцию «Литературной газеты» и прочитал его своему приятелю, работавшему там (Всеволоду Ревичу. – Е. Е., 1998). Он немедленно побежал в соседние комнаты и привел коллег и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил:

– Нельзя ли было бы копию сделать? Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение…

– И нам, и нам копии, – стали просить коллеги.

– То есть как – копии? – недоуменно спросил я. – Я же принес его печатать…

Евгений Евтушенко с Дмитрием Шостаковичем и Кириллом Кондрашиным. 18 декабря 1962 г.

Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило.

Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал:

– Вот он, проклятый Сталин, как в нас еще сидит…

И подписал стихи в номер.

– Ты не уходи, – сказал мне мой приятель. – Еще редактор не читал. Может быть, вопросы будут…

Часа два, нервничая, я сидел в одной из редакторских комнат. Поминутно заглядывали журналисты из всех отделов,

говорили какие-то успокаивающие слова, но весьма неуверенными голосами. Машинистки приносили конфеты. Вдруг открылась дверь и появился старичок-наборщик в рабочем халате:

– Ты Евтушенко будешь? Дай руку, сынок. Я набрал твой «Бабий Яр»… Правильная вещь! Все рабочие у нас в типографии читали и одобряют… Я, брат, в молодости в рабочей дружине участвовал. Евреев от погромщиков защищали.

Старичок что-то еще говорил, и мне как-то спокойнее становилось на душе.

Наконец меня попросили зайти к редактору. Редактор В. Косолапов – немолодой уже человек – поглядел на меня своими хитрыми крестьянскими глазами из-под седых клочковатых бровей. Эти глаза много повидали на своем веку.

– Хорошие стихи, – с расстановкой сказал редактор, испытующе глядя на меня.

По своей практике я знал, что когда начинают с этой фразы, то стихи затем обычно не идут.

– Правильные стихи, – так же с расстановкой продолжал редактор. Ну теперь-то уж я совершенно был уверен, что стихи не пойдут.

– Будем печатать, – сказал редактор.

Обычная хитринка вдруг исчезла из его глаз. Его глаза посуровели.

– Конечно, может быть всякое… Ты это учти.

– Я учитываю, – ответил я.

Я снова возвратился в редакторскую комнату. Завтрашний номер выходил обычно в семь вечера. Все журналисты, уже окончившие свою работу, остались – тоже ждали номера. Пробило семь часов. Редактор еще не подписал номера. Пробило восемь. Редактор зачем-то послал машину за своей женой на дачу. Пробило девять. Ко мне зашла молодая красивая женщина – главный инженер типографии – и молча показала уже готовые листы, только на том месте, где должно было стоять мое стихотворение, зияло белое пятно. Пробило одиннадцать. К редактору приехала его жена. В половине двенадцатого редактор попросил меня зайти.

– Я пойду с вами! – нервно сказала женщина-инженер. – Если что-нибудь не так, я скажу, что уже невозможно не напечатать… Сошлюсь на какие-нибудь технические причины.

Мы зашли.

Редактор и его жена, уже в пальто, стояли над листами.

Женщина-инженер, увидев, что листы с моим стихотворением подписаны редактором, схватила их и, весело, как девчонка, припрыгивая, помчалась в типографию.

– С женой я решил посоветоваться, – сказал редактор. – Она мой большой друг… Видите, и она одобрила… Идите смотреть, как сейчас стихи из-под машины будут вылетать.

Я спустился в типографию. Рабочие пожимали мне руку. Женщина-инженер махнула рукой, и машина заработала. И вдруг что-то затрещало, грохнуло и машина остановилась. Я был настолько взвинчен, что совершенно оцепенел. Старичок-наборщик ласково тронул меня за плечо:

– Одну минуточку потерпи еще, сынок.

И машина снова заработала, и первые экземпляры газеты один за другим стали падать к моим ногам.

– Завтра эта газета станет библиографической редкостью, – сказала женщина-инженер, протягивая мне охапку номеров.

Я расцеловался и с ней, и с рабочими. Мне казалось, что мы вместе написали эти стихи.

На следующий день все номера «Литературной газеты» были распроданы в киосках молниеносно. Уже в первый день я получил множество телеграмм от незнакомых мне людей. Они поздравляли меня от всего сердца. Но радовались не все.

Через несколько дней газета «Литература и жизнь» опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на «Бабий Яр», где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду между народами. Обвинение чудовищнее и нелепее этого трудно было представить! И стихи А. Маркова, и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны.

Однажды утром ко мне пришли два молодых человека, роста примерно метр девяносто каждый, со значками «Мастер спорта» на пиджаках, и объяснили, что их прислала меня охранять комсомольская организация их института.

– Охранять? От кого? – удивился я.

Молодые люди смущенно пояснили мне, что, конечно, народ очень хорошо принял мое стихотворение, но у нас и сволочи тоже попадаются. Так они сопровождали меня, как тени, несколько дней. Я потом поближе познакомился с ними, и выяснилось, что они сами вовсе не являются большими знатоками поэзии. Комсомольская организация выделила их по принципу физической силы – один из них был боксером, второй – борцом. Это было немножко смешно, но в общем необыкновенно трогательно.

…Один студент в парижском кафе, далеко не лучший из внуков Французской революции, сказал мне:

– Я вообще за социализм… Но я хочу подождать, пока у вас появятся такие магазины, как наш «Галери де Лафайет». Тогда, может быть, и я буду бороться за социализм…

Ему, видите ли, подавай будущее на серебряном блюде, хорошо поджаренное, подрумяненное, да еще с веточкой укропа, торчащей изо рта, тогда он, может быть, поковыряет его вилочкой.

Мы делали будущее сами, отказывая себе в самом необходимом, мучаясь, ошибаясь, но делали сами.

И я горд, что я не наблюдатель, а участник в этой борьбе за будущее.

Феликс Медведев
Поправочка к «рукопожатию»…

Хочу поправить замечательного журналиста, исследователя жизни и быта Москвы и москвичей Льва Колодного. В книге Андрея Вознесенского «Дайте мне договорить!» он так комментирует встречу поэтов «на Масленицу в 2008 году»: «У меня собрались гости. Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко оказались за одним праздничным столом. И… пожали друг другу руки. Спустя тридцать лет. Точка. Все эти десятилетия длился их напряженный молчаливый диалог: кто – первый? И вот они встретились, посмотрели друг на друга – и у обоих появились слезы. Одному уже 75, другому – вот-вот стукнет. И оба они первые! И в каком-то смысле – последние».

Да, отношения Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко на протяжении почти всей их творческой жизни были далеко не безоблачными: они ссорились, их ссорили… Быть может, только в юности, в самом начале, то есть в пятидесятых годах, оба одинаково популярные, они были близки.

У Евгения Александровича есть стихотворение «Плач по брату», написанное в 1974 году. Помню, какое сильное впечатление произвело оно на меня при первом прочтении. Несмотря на посвящение известному геологу Владимиру Щукину, в сюжете этой стихотворной новеллы мне отчетливо видится аллюзия к «заклятой дружбе» двух знаменитых поэтов.

Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. 1970-е гг.

Вот эти стихи:

> С кровью из клюва, тепел и липок,
> шеей мотая по краю ведра,
> в лодке качается гусь, будто слиток
> чуть черноватого серебра.

Двое летели они вдоль Вилюя.
Первый уложен был влет, а другой,
низко летя, головою рискуя,
кружит над лодкой, кричит над тайгой:
«Сизый мой брат, появились мы в мире,
громко свою скорлупу проломя,
но по утрам тебя первым кормили
мать и отец, а могли бы – меня.
Сизый мой брат, ты был чуточку синий,
небо похожестью дерзкой дразня.
Я был темней, и любили гусыни
больше – тебя, а могли бы – меня.
Сизый мой брат, возвращаться не труся,
мы улетали с тобой за моря,
но обступали заморские гуси,
первым – тебя, а могли бы – меня.
Сизый мой брат, мы и биты и гнуты,
вместе нас ливни хлестали хлестьмя,
только сходила вода почему-то
легче с тебя, а могла бы – с меня.
Сизый мой брат, истрепали мы перья.
Люди съедят нас двоих у огня
не потому ль, что стремленье быть первым
ело тебя, пожирало меня?
Сизый мой брат, мы клевались полжизни,
братства, и крыльев, и душ не ценя.
Разве нельзя было нам положиться:
мне – на тебя, а тебе – на меня?
Сизый мой брат, я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказанье мне люди убили
первым – тебя, а могли бы – меня…»

Я не тщусь натягивать на себя тогу литературоведа-комментатора и не хочу трактовать строчки и образы, говорю лишь о своих личных ассоциациях.

Однажды, это было в 1975 году, я попытался проверить свое предположение. Мы встретились с Евгением Александровичем в ресторане Центрального дома журналистов, чтобы обсудить предстоящую поездку поэта на выступление в один из подмосковных городов. Так вышло, в этот вечер он никуда не спешил. После фирменного домжуровского «филе по-суворовски», экзотичных миног, ну и, конечно, бутылочки «Столичной», слово

за слово, визави стал клевать мою журналистскую наживку. Рассказал о своей новой любви (в его жизни тогда появилась англичанка Джан, с которой у него складывались серьезные отношения), поднял болезненную для любого автора тему тиражей в издательстве «Советский писатель», где я работал, и вдруг неожиданно спросил: «Давно не виделся со своим Андрей Андреичем?».

Для меня этот вопрос не был неожиданным: Евтушенко знал о моем давнем знакомстве с Вознесенским, а я знал об их сложных, далеко не братских отношениях.

Я понял, что надо ловить момент, и ответил вопросом на вопрос: «А вы?».

И Евгений Александрович разразился резкой эскападой. Он говорил о том, что Вознесенский – для «золотой» публики, для интеллектуалов, что в каком-нибудь райцентре не понимают его стихов, а «мои понимает весь народ!», но при этом, при этом… они, конечно, великие оба…

К сожалению, ответ на мой вопрос о стихотворении «Плач по брату» был растворен в длинном полупьяном монологе, в котором я чувствовал вечный в мировой литературе синдром соперничества первых поэтов.

Неожиданно поднявшись из-за стола, Евгений Александрович позвал официантку и, бросив: «У меня свидание в Доме актера», прервал нашу трапезу… Когда мы сели в его «Волгу», стоявшую во дворе Домжура, и он рванул по Суворовскому бульвару, я взглянул на спидометр и замер… Впервые в жизни я ехал с абсолютно пьяным водителем и на такой запредельной скорости. Конечно, лестно было погибнуть вместе с мировой звездой, но я решил все-таки не испытывать судьбу и попросил Евгения Александровича остановиться в конце бульвара у магазина «Армения»…

В книгу «Дайте мне договорить» составители включили стихи «На „хвосте“» Евгения Евтушенко, датированные 18 февраля 2005 года и посвященные Андрею, и «Плач по братку» Андрея Вознесенского от 24 февраля того же года с подзаголовком «Ответ Евгению Евтушенко», опубликованные ранее в «Новой газете». Несмотря на неоднозначные названия, ясно одно: и то, и другое стихотворение – о братстве «крыльев и душ» (вспомним «Плач по брату» Евтушенко, о котором речь выше), о верности общей юности времен Политехнического…

Читаешь провидческие строки Андрея, и сжимается сердце:

Но останутся не экраны
И не выходы за флажки.

Лишь слеза над башкой братана,
Больше нету такой башки…

…Так вот, возвращаясь к высказыванию уважаемого Льва Ефимовича Колодного, я свидетельствую: пожали Вознесенский и Евтушенко друг другу руки именно тогда, в начале февраля 1987 года. Горбачевская перестройка набирала обороты, и акция отдела литературы «Огонька», собравшая вместе самых ярких поэтов-шестидесятников, была, конечно же, симптоматичной. Нам наивно хотелось, чтобы на новом переломе истории нашей страны они были вместе, как когда-то в далекие оттепельные шестидесятые. Ведь сказал же когда-то Андрей Вознесенский: «Нас мало. Нас может быть четверо… Но все-таки нас большинство…»

«Мы не можем допустить того, чтобы нам было стыдно прийти друг к другу на похороны», – как-то сказал Евгений Евтушенко.

Прощание с Андреем Вознесенским в Центральном доме литераторов 4 июня 2010 года

Эти похороны были для меня почти неправдоподобными. Не хотелось верить, что на свете уже нет Андрея Вознесенского. Так много лет он был рядом – живой, смеющийся, читающий стихи… Даже все утончающийся, удаляющийся куда-то его голос не слишком смущал. Главное, поэт мыслил, творил. Давал интервью. А тут вдруг телевидение, радио, газеты – в один голос: «Великий поэт ушел из жизни».

В ЦДЛ я пришел, захватив с собой диктофон. Просто так, по журналистской привычке. Но когда начались прощальные речи, я вытащил его из кармана и поднял над головой. И пленка вобрала в себя все слова, все шорохи несуетной суеты расставания. В вечерних репортажах ТВ был виден мой торчащий над головами людей диктофон. Он зафиксировал прощанье. Прощанье навсегда.

Евгений Евтушенко на похоронах Вознесенского. 2010 г.

Поэт Евгений Евтушенко:

– Всемирными русскими были Андрей Рублев, Пушкин, Ломоносов, Петр Первый в его плотницкой ипостаси.

Всемирными русскими были Лев Толстой, Герцен, Чайковский, Шостакович, Пастернак, Сахаров, учившие нас делать все, чтобы силы подлости и злобы были одолены силами добра. И всемирными русскими стали не только в собственной стране, но и во многих странах – Андрей, Белла, Володя, Роберт, которые своими стихами помогали нашему народу не закостенеть в замшелой гибельной изоляции от всего остального мира. Зачем нам, русским, неестественно придумывать национальную идею и сколачивать для этого какие-то команды? Все лучшее в русской классике – и есть наша национальная идея. Эта идея в словах Достоевского выражена ясно и просто – когда он говорил о самом мощном, сильном, человечном качестве Пушкина. Это два слова: «Всемирная отзывчивость».

Я прочитаю только что написанные стихи.

Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,
и это неназванное
не заменит никто и ничто.
Неясное «это»
превыше, чем премия Нобеля, —
оно безымянно,
и этим бессмертней зато.
Не стало поэта,
который среди поэтического
мемеканья
«Я – Гойя!» —
ударил над всею планетой в набат.
Не стало поэта,
который писал, архитекторствуя,
будто Мельников,
вонзив свою башню шикарно
в шокированный Арбат.
Не стало поэта,
кто послал из Нью-Йорка на «боинге»
любимой полячке
дурманящую сирень,
и кто на плече у меня
под гитарные чьи-то
тактичные «баиньки»,
в трамвае, портвейном пропахшем,
въезжал в наступающий день.
Не стало поэта,
и сразу не стало так многого,

и это теперь
не заменит никто и ничто.
У хищника быстро остынет
его опустевшее логово,
но умер поэт,
а тепло никуда не ушло.
Тепло остается
в подушечках пальцев,
страницы листающих,
тепло остается
в читающих влажных глазах,
и если сегодня не вижу
поэтов, как прежде блистающих,
как прежде, беременна ими
волошинская Таиах.
Не уговорили нас добрые дяди
«исправиться»,
напрасно сообщниц ища
в наших женах и матерях.
Поэзия шестидесятников —
предупреждающий справочник,
чтоб все-таки совесть
нечаянно не потерять.
Мы были наивны,
пытаясь когда-то снять
Ленина с денег,
а жаль, что в ГУЛАГе,
придуманном им,
он хоть чуточку не пострадал,
ведь Ленин и Сталин чужими руками
такое смогли с идеалами
нашими сделать,
что деньги сегодня —
единственный выживший идеал.
Нас в детстве сгибали
глупейшими горе-нагрузками,
а после мы сами
взвалили на плечи земшар,
где границы, как шрамы, болят.
Мы все твои дети, Россия,
но стали всемирными русскими.
Мы все, словно разные струны
гитары, что выбрал Булат.

Ночной разговор с Евтушенко
Интервью на 80-летие

Юбилей Евтушенко многие отметили 18 июля в прошлом году, – и были по-своему правы. Но сам поэт пообещал вспомнить про свое 80-летие лишь нынешним летом – так по паспорту (в котором напутали даты). Все прежние дни рождения поэт отмечал выступлениями в Политехническом.

В прошлом июле не вышло: после серьезной операции на правой ноге врачи заставили отлеживаться. Зимой Евгений Александрович все же добрался до Москвы, выступил потом еще и в Киеве, и в Париже. В апреле его ждали на премьере постановки Вениамина Смехова «Нет лет» – по стихам Евтушенко, – выбраться поэту не удалось, а премьеру… посвятили ушедшему накануне из жизни Валерию Золотухину.

Сегодня из всех своих друзей по той ярчайшей плеяде поэтов-шестидесятников Евтушенко остался один. Да и в тот их Политехнический не приедешь – закрыт на многолетний ремонт. Сегодня он весь в заботе – надо много успеть, повторяет, надо много еще успеть. Русский поэт, так сложилось, живет в американской Оклахоме, где у него свой домик, где он справил недавно серебряную свадьбу с четвертой женой Марией, где у них растут два сына (всего-то у поэта детей – пятеро) и где он учит студентов истории поэзии и кино в университете городка Талса (не считая Куинс-колледжа в Нью-Йорке, где он тоже преподает).

Дозвонился я ему, каюсь, не в самое урочное время: по-тамошнему в три часа ночи. Но Евтушенко махнул рукой и… как из мелких стеклышек, склеился вдруг разговор – о роли поэтических ссор и свар в историческом процессе. Тени ночные скрипели угрюмо. Время от времени, чтоб не думалось, поэт уточнял: «Слышите, как храпит? Это сын тут спит рядом». И опять – к разговору.

– Евгений Александрович, вот только что, в мае, отметили 80-летие вашего вечного поэтического друга-недруга Андрея Вознесенского. Три года назад на его похоронах вы прочли свои стихи, в которых вспомнили общую дружную юность и горько подытожили: «Не стало поэта, и сразу не стало так многого, И это теперь не заменит никто и ничто»… А что вас все-таки рассорило когда-то? Не жаль стольких лет и сил, потраченных на взаимные упреки, на вечный спор, кто первый, кто второй?

– Да я же много говорил об этом, много об Андрее написал. Мы в конце концов поняли, приняли друг друга и пожали руки.

– Я не из праздного любопытства – как раз в дни между вашими 80-летиями я наткнулся на парочку жутко злобных публикаций. В одной неистовый патриот Павлов обвиняет всех скопом шестидесятников в нынешних бедах и зовет буквально «спасать нашу Родину» и «кончать со всякими „оккупациями“ и „оккупантами“» – пофамильно перечисляя вас, Вознесенского, Окуджаву, Ахмадулину, Аксенова. Буквально по-хрущевски: убирайтесь вон, тоже мне Пастернаки нашлись Но… с другой-то стороны, читаю, как некий таки еврей-эмигрант Фельдман выступает с гневным призывом не звать таких авторов «гениальными русскими поэтами» и предать их анафеме. Ну и куда вам, бедным крестьянам, податься – никому шестидесятники-идеалисты не угодили? А вы, между тем, и сами между собой никак не могли разобраться… Отчего так?

– Отчего – я думаю, вам придется уже без нашей помощи решать, разгадывая те проблемы, которые возникали между нами и внутри нашего поколения. Вам будет легче разобраться, все это безумно интересно и досадно.

Я заканчиваю роман, в котором хотел бы ответить на многие вопросы. Понимаете, очень много важного надо успеть сказать, все, что я должен… Никого почти не осталось из моего поколения. И ведь как все уходили – это страшно… Вот уже недавние смерти – Золотухин, Герман, они же были прекрасные люди… В романе, название еще не окончательное, «Город желтого дьявола», как всегда, я пытаюсь сказать все сразу. Там и про то, как мы с дочкой соседа сбежали на фронт после первого класса, добрались до Ясной Поляны, очутившись даже ненадолго у немцев в плену. Там и про первую поездку в Америку в шестьдесят первом…

– Иногда кажется, что шестидесятники и сами подогревали этот интерес к своим «скандалам», радостно давали поводы для пересудов – стихами и прозой цепляли друг друга, где выступал один – демонстративно не появлялся другой…

– «Подогревали» больше все-таки третьи лица – всегда находились такие. Такие хорошие отношения, какие были у нас, всегда кого-то раздражают, всегда кому-то хотелось нас ссорить. Естественно, и чиновникам писательским, государственным это часто было на руку, и окололитературным кругам… Вот этого всего очень жаль.

– Помните, в девяностых годах вас собирал журнал «Огонек»? Вы были на обложке вчетвером – с Рождественским, Вознесенским, Окуджавой, опять вместе. Что это было – только красивый жест?

– Конечно, помню. Поверьте мне, это было не то что вот

пожали руки перед камерой. Все мы знали цену друг другу – в хорошем смысле слова… Главное, что я понимаю сейчас, насколько все эти выяснения, письма, взаимоподозрения, готовности верить всяким испорченным телефонам, – лишь укорачивали жизни… Глупо – как глупо и пытаться изменить прошлое: когда, например, из собрания сочинений Беллы Ахмадулиной выбрасываются все посвящения мне. Но это же не Белла сделала, она была выше этого. Я уважаю Бориса Мессерера, но… Мы все равно остались связаны с ней как поэты, как друзья.

– Писатель Юрий Нагибин, за которого Ахмадулина вышла замуж, расставшись с вами, в своем дневнике тоже не жаловал вас, да и не только вас…

– Ну он много чего понаписал о Белле. И меня он называет то ли проходимцем, то ли приспособленцем, а через несколько страниц – он же искренне удивляется, как такой широкий, талантливый поэт, как Евтушенко, может дружить с Поженяном, который травит байки о своих фронтовых подвигах. А я же видел, какими глазами он сам смотрел, слушая того же Поженяна. Какими глазами он смотрел на Беллу… У него в дневнике каждый второй – нехороший человек, он и сам ведь выглядит не в лучшем свете. Понимаете, вот то что происходит: зачем было всем лгать самим на себя, на свое поколение?

– Нагибин не одинок – Василий Аксенов тоже пытался понять, когда же ваша «дружба пошла наперекосяк». В его романе «Таинственная страсть» после бурного лета в Коктебеле 1968 года вы все и разбежались своими дорожками. А ведь сколько, судя по роману, было вместе выпито, как бурно вместе любили!

– Знаете, вот что меня раздосадовало больше всего – так это Аксенов с «Таинственной страстью». Зачем он это написал – он и себя сам оклеветал. В романе такая жизнь столичной богемы – да не было это так, как у него, это бред. У нас была настоящая любовь, мы и любить умели искренне. И потом, если это и была наша жизнь, если мы столько времени беспробудно пили, – то откуда же взялось столько написанного шестидесятниками? Когда у них оставалось время – столько сделать и написать? Или это какие-то другие люди писали за них?

Все это от какой-то самонедооценки. Хотя сам материал – шестидесятничество – редкий, понимаете, редкий. Тот же Аксенов приближался к осмыслению этого времени в книге «Лендлизовское», а потом… Может, болезнь уже помешала ему завершить работу, не знаю. Но он и себя самого там принизил, а самопринижение – вот это неправильно. Главное, это ничего не объясняет…

– А что нужно объяснить? Что важно не упустить, пытаясь

понять шестидесятников как явление?

– Я до сих пор размышляю – вот сижу тут в Америке и размышляю над этим – что могло заставить, скажем, Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого предать Пастернака в той истории с Нобелевской премией, выступить против него в октябре 1958 года. Они были для нас старшим поколением, учителями. Как они могли? Не могу понять. Мне вообще странно, что Быков в своей книге о Пастернаке не уделил должного внимания этой истории с «Доктором Живаго» – на ней ведь многое высветилось, она как минимум укоротила жизнь Пастернаку…

– Ну, предательская речь и Слуцкому укоротила жизнь – он мучился этим страшно, не скрывая, до последних дней.

– Вот об этом я и говорю. Кто-то же должен сказать об этой опасности, предупредить… То же самое с учениками Пастернака, студентами Литинститута Панкратовым и Харабаровым – они пришли к нему за разрешением оклеветать, предать поэта. Он-то их всех простил, он вообще был человеком любви. Но они же подписали себе приговор, перечеркнув все пути в литературе, исчезли.

– Кстати, в «Таинственной страсти» Аксенов отсылает нас к своему ориентиру – катаевской повести «Алмазный мой венец». А там ведь тоже – поэты другой эпохи, двадцатых годов, так же рьяно перечеркивают друг друга. Маяковский и Есенин – любя, ценя и ненавидя друг друга, режут по живому…

– В двадцатых годах практически все то же, что и потом. Это очень сложно понять – почему все это повторяется? Не знаю, даже если не найдется ответа, его надо искать: почему? Вот я вам скажу, Пастернак же очень о многом их предупреждал – он любил и Маяковского, и Есенина. У Пастернака был дар такой чудодейственной любви к людям – и он предсказал трагические последствия их ссор и для Есенина, и для Маяковского (он называл его нежно всегда Володей). Так и случилось.

И потом – помните, когда-то Пастернака страшно гнобили – якобы он оскорбил поэта, когда сказал, что Маяковского начали сажать, как картошку, и этим убили. Но он же говорил правду, и говорил, как раз защищая Маяковского от тех, кто старательно прятал под бронзой живую поэзию, живого поэта. Пастернак как раз понимал то, чего не понял Карабчиевский, написавший «Воскресение Маяковского», – тот сам писал стихи, но все-таки осмелился поднять руку на поэта, сделав из него больного, ничтожного неврастеника.

– Тот же Карабчиевский, кстати, как раз в вас, поэтах-шестидесятниках, увидел пародию на этого «жалкого» Маяковского. То есть «жалкие» вы у него уже вдвойне.

– Карабчиевский был еще, в общем, молодой человек. Может, и вспоминать бы его не стоило – но ведь он тоже не смог потом пережить угрызений совести и покончил с собой, понимаете? Он забыл о такой маленькой вещи: взаимобезжалостность страшно разрушительна.

– Но Карабчиевский-то не первый. Поэт Ходасевич написал злой фельетон о Маяковском на десятый день после смерти поэта. Традиция все-таки давняя – любить и травить друг друга, по мелочи и по крупному. А Блок и Белый, а Гумилев с Волошиным – стреляться ж были готовы. А почитать, послушать, в каких выражениях гнобят друг друга сегодня – скажем, Проханов и Ерофеев, Иртеньев и Прилепин? Жутковато.

Хотя кто-то же умел – пусть поздновато – поднять себя выше дрязг. Лесков, всю жизнь воевавший с шестидесятниками XIX столетия, к концу жизни оценил вдруг Белинского с Добролюбовым за высокое подвижничество. Тургенев, запустивший слух о педофилии Достоевского, все искал повода для примирения. Бунин, размазывавший и Есенина, и Маяковского, все же соглашался, что из литературы их не вычеркнешь… Или вот – радостно цитируют Ахматову, назвавшую молодых шестидесятников небрежно – «эстрадники». А диссиденты Копелев и Орлова вспоминали в своем дневнике и совсем другие ее слова: «Я раньше все осуждала „эстрадников“ – Евтушенко, Вознесенского. Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы послушать стихи»… Поэты, может, и спохватывались, а молва уже понеслась, и если сами они друг друга не изведут – молва и пересуды добивают…

– В том и вопрос, пусть даже запоздалый, – почему интеллигенция так безжалостна к самой себе, в чем причины? Почему мы не ценили не берегли друг друга, слишком много сил тратили на выяснения отношений?

– А что у вас вышло с Бродским? Откуда это общеизвестное – если вы «против колхозов», то он – «за»? Ведь не секрет, что вы действительно писали в его защиту руководству страны, помогли его возвращению из ссылки, одними из первых встречали его в Москве с Аксеновым вместе – но все окружение старательно повторяло его злые слова о вас, об Аксенове, о Вознесенском, да, кажется, обо всех…

– Это вообще очень странная история – все-таки были те, кому Бродский очень помогал. Но никому из тех, кто когда-либо помог ему, он не сказал спасибо. Я не говорю о себе, но он знал про журналистку Фриду Вигдорову, потерявшую работу, здоровье, когда из ее стенограммы суда над Бродским весь мир узнал имя поэта. Но ни слова никогда не сказал о ней. Думаю, он вообще

страшно боялся чувствовать себя вынужденно благодарным кому бы то ни было. Но ведь в конечном счете и тем, как он отмежевался от шестидесятников, он и себе укоротил жизнь, потому что понимал, что нет в этом правды. А окружение, которому правда и не была нужна, восторженно подхватывало любую его язвительную реплику – такое хоровое исполнение сольной партии.

А я еще помню, давно это было, эпизод такой – я читал стихи, знаете, какие… «Идут белые снеги». И у него на глазах появились слезы: «Ты не понимаешь, как талантлив»… Ведь это было, было. А потом – перечеркнул своей рецензией аксеновский «Ожог», протестовал против принятия меня в члены Американской академии искусств. После его смерти мне показали письмо Бродского в Куинс-колледж – чтобы меня не брали преподавателем поэзии, потому что я своими стихами «оскорбил американский национальный флаг». Это о строчках из стихотворения 1968 года на смерть Роберта Кеннеди: «И звезды, словно пуль прострелы рваные, Америка, на знамени твоем». Тогда я прочел стихи ему и Евгению Рейну. Иосиф предложил пойти вместе в американское посольство, оставили запись в книге соболезнований. Стихотворение потом напечатала «Нью-Йорк таймс»… Зачем это было ему нужно, не понимаю. Загадка.

– Поэт Кушнер сетовал, что шестидесятникам предъявляли иск за «недостаток радикальности и бескомпромиссности», за то, что «могли публиковать свои вещи». Но так ведь не только с шестидесятниками – ради чего каждое поколение напрочь старается по сей день уничтожить предыдущее, из которого вышло? Время-то все равно расставляет все по полочкам…

– Думаю, вам самим надо искать ответы. Причем не у нас, а в самих себе. Главное, не тратить дарование художника на то, что и вам самим сокращает жизнь… А мне сейчас важно – завершить свой роман. И антологию русской поэзии в пяти томах наконец выпустить. Два тома по 1000 страниц уже готовы, сейчас третий, – а это, знаете, скольких требует сил. Кроме того, надо успеть написать роман о Кубе… Вот рядом со мной сейчас храпит мой сын. Понимаете, это же не просто слова – мы в ответе не только за тех, кого приручаем, но и за детей, за будущее.

«Я никого из них никогда не обидел…» Интервью с Евгением Евтушенко

– Ваше стихотворение «Хотят ли русские войны» стало народной песней. Несколько слов об истории создания этой песни?

– Рефрен «Хотят ли русские войны» принадлежал Марку Бернесу. Он так и сказал: «Знаешь, надо бы написать песню о том, хотят ли русские войны?». Я ответил: «Что тут писать. Рефрен ты мне уже дал».

Когда мы записали песню, Политическое управление армии (ПУР) встало стеной против этой песни. Они сказали, что она будет деморализовывать наших советских воинов, а нам нужно воспитывать боеготовность солдата, которому предстоит бороться против империализма. И песня не была проиграна по радио, не попала в репертуары. Несмотря на это, Марк начал петь ее в своих концертах, из-за чего у него возникли неприятности.

Тогда я пошел к министру культуры Екатерине Фурцевой. Женщина она была своеобразная, очень эмоциональная. И я понимал, что если начну говорить абстрактно, то нужного результата не добьюсь. Я сказал: «Екатерина Алексеевна, я вас очень прошу – послушайте одну песню». Она не знала, что происходило вокруг этой песни, не знала о реакции на нее ПУР и т. д.

Я поставил на стол магнитофон и проиграл нашу с Марком Бернесом запись. На глазах у Фурцевой выступили слезы, она обняла меня и сказала, что это изумительная песня. Тогда я ей рассказал историю с ПУР. Надо отдать ей должное: конечно, Фурцева могла испугаться схватки с таким могущественным противником, как ПУР. Она тогда была уже в опале, ее выводили из Политбюро, она даже резала себе вены, насколько мне стало известно. Но все-таки она была сильной женщиной. При мне она сняла трубку и позвонила председателю радиокомитета. Ей ответили, что поскольку ПУР против, с песней ничего не могут сделать. Тогда Фурцева сказала, что берет это под свою полную ответственность. Председатель спросил: «Вы можете дать нам письменное распоряжение?». Фурцева немедленно написала записку. Кто-то поехал на радио – и песня прозвучала на следующий день. Потом она обошла весь мир. Парадоксально, но ее с огромным успехом исполнял хор Советской армии под

управлением Александрова. Между прочим, молодой тогда Муслим Магомаев ее исполнил, и с этого началось его восхождение.

– И ваше, в немалой степени.

– Нет, у меня все было по другому. Первое мое восхождение началось, когда мои стихи стали переписывать от руки в тетрадки. А началось все со стихотворения «Со мною вот что происходит». Это как бы простое лирическое стихотворение, посвященное Белле Ахмадулиной. Ей тогда было восемнадцать лет, мне было двадцать три, если не ошибаюсь. Я не придавал этому стихотворению большого значения, но стихотворение до сих пор живет, на него написано несколько мелодий, оно живет, переходя из одного поколения в другое.

– Раз мы вспомнили это стихотворение… Евтушенко, Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский – в конце пятидесятых – начале шестидесятых ваши имена олицетворяли собой «молодую поэзию» хрущевской оттепели. Как складываются ваши взаимоотношения сегодня? С Вознесенским у вас, кажется, не все гладко.

– Это у него с самим собой и со мной, а не у меня с ним. Я только что закончил программу о его поэзии. Он и Белла Ахмадулина – замечательные поэты, они создали то, что редко кому удается: у них есть свой стиль. И пока существует русская поэзия, они всегда будут включены во все антологии. Это большие поэты. Но в личной жизни происходит то, что я уже как-то сказал в таких строчках: «Уходят друзья, кореша, однолетки, / Как будто с площадки молодняка / Нас кто-то разводит в отдельные клетки / От некогда общего молока. / Напрасно скулю по друзьям, как звереныш, – / Друзей не воротишь…»

Если говорить о Вознесенском… Я не знаю, что его толкнуло, когда он давал интервью пару лет назад Андрею Караулову. На вопрос о моем месте в поэзии Вознесенский пожал плечами, какая-то странная ухмылка скользнула по его лицу, и он сказал: «Ну, он же теперь живет в Америке». Что значит я живу в Америке? Я живу и в России, а в Америке преподаю русскую поэзию, русское кино. И я счастлив, что мои американские студенты – это совсем другие американцы. Американец, который любит Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака. Приезжая в Россию, он будет видеть ее совсем другими глазами. У него никогда уже не появится колониалистского подхода к нашей стране. Я счастлив, что мои американские ученики сейчас работают с Россией.

– В каком вы преподаете университете?

– Я преподаю в двух университетах, что довольно редкий

случай для Америки. Я преподаю в Оклахоме и в Нью-Йорке, в Квинс-колледже. По просьбе студентов я читаю лекцию «Евтушенко о самом себе», которая записывается местным телевидением на кассету. Я надеюсь ее отредактировать, чтобы самые разные люди ее смотрели. Кстати, в Москве у меня огромное шоу «Поэт в России больше, чем поэт» – каждую субботу, 26 минут. Это шоу смотрят больше 10 миллионов человек. Так что какой разговор о том, что я живу в Америке! У меня сейчас выходит полное собрание сочинений в восьми томах. То есть, когда мой коллега ответил таким образом, он нарушил просто профессиональную этику. Я понимаю, если бы этот человек никогда не был в Америке и мне бы завидовал, но Вознесенский бывал в Америке не меньше, чем я. И не меньше, чем я, преподавал в американских университетах.

– Как вы считаете, в чем здесь дело?

– Это нужно у него спросить. Когда я ответил на его выпад довольно вежливо через газету, он продолжил вести свою линию. Сейчас вышла его книжка, в которой он пишет, что когда я, во время своих «редких» приездов, бываю в России, я поливаю грязью его, Ахмадулину и Аксенова. Я не знаю, откуда у него такая паранойя. Я этим совершенно не занимаюсь. И никого из них никогда не обидел ни одним словом. Все это очень огорчительно, и я убежден: это происходит оттого, что какие-то люди пытаются нас поссорить, разбить поколение.

Кстати, тот же Караулов задал вопрос в одной из передач Булату Окуджаве: «Как вы относитесь к тому, что Евтушенко преподает в Америке?». Окуджава подошел к полке, снял мою антологию «Строфы века» в тысячу листов, над созданием которой я работал 23 года, и сказал: «Вот что делает Евтушенко в Америке. И мы должны быть ему благодарны. А то, что он там преподает – я ему завидую: хорошо, если знаешь английский язык. Знал бы я английский, тоже уехал бы преподавать».

– У меня вопрос к вам как к режиссеру. Как поживает ваш фильм «Детский сад»? Спрашивают ли его в видеотеках?

– Американцы все время обновляют кассету с субтитрами и перевыпускают этот фильм. «Детский сад» – перегруженный фильм. Но там есть очень сильные куски и Феллини мне как-то сказал, что фрагмент, когда во сне героя-мальчика солдаты маршируют возле Мавзолея с аквариумами в руках, войдет навсегда в антологии мирового кинематографа. Мой второй фильм «Похороны Сталина» лучше, чем «Детский сад». Он лучше отредактирован, монтаж лучше, кроме того, удались массовые сцены. Я кино не хочу бросать. У меня уже лежат три сценария, которые только ждут денег на постановку.

– Что вы можете сказать о современном российском кинематографе?

– Мне понравился «Кавказский пленник». Очень хорошая картина. И нужная картина: то, что война в Чечне остановилась – в этом заслуга в какой-то степени и режиссера Бодрова, потому что, как мне рассказывали, когда Ельцину показали этот фильм, он принял решение остановить военные действия. Ему бы и так пришлось это сделать, но все-таки картина подействовала. Бодрову удалось создать картину, которую с одинаковым чувством смотрели и чеченцы, и русские.

Очень люблю Никиту Михалкова. Он физиологически талантливый человек и замечательный актер. «Утомленные солнцем» мне нравится. Не нравится только конец, когда герой в ванной режет себе вены. Это очень «от Тарантино» и было ненужно. И еще я считаю, подбор главной героини был неудачен.

Если говорить о последних картинах, то мне ряд фильмов не понравился. Не очень понравился «Вор» – мне не нравятся фильмы, где нет второго плана. Мне кажется, что сейчас в современном кинематографе много «чернухи», кинематография стала жестковатой, мало человеческой теплоты. Но ведь в России очень много талантливых людей. В Америке есть много талантливых артистов, но такого количества талантливых режиссеров, которое есть у нас, в Америке нет. Возьмем того же Хотиненко, Мамина, Прошкина (его картина «Холодное лето пятьдесят третьего» просто феноменальна). У нас в России недооценили одного фильма – «Плач Казановы» с Инной Чуриковой, поставленный Галиным по собственному сценарию. В нем продюсер-итальянец сыграл главную роль – и замечательно сыграл. Это дивный фильм.

А фильмы Германа! Я с нетерпением жду его нового фильма. Этот режиссер недооценен во всем мире, а ведь он гениальный, мастер. Когда я разговаривал с руководством компании «Санкт-Петербург», которая распространяет видеофильмы по США, я посоветовал им сделать гигантское дело – начать титрировать русские фильмы. К русским фильмам огромный интерес, и перевод на английский откроет американцам массу новых имен. Если титрированные фильмы выпустят, их будут покупать не только университеты.

Из последних американских фильмов мне совсем не нравится «Титаник» – он не заслуживал ни одной премии, кроме как за специальные эффекты. И вообще, как можно давать первую премию картине, если ни один из главных актеров «Оскара» не получил. Это невозможно. Здесь премия выиграна деньгами.

Зато американцы сделали замечательный фильм «As Good As

It Gets». Джек Николсон никогда так хорошо не играл после «Гнезда Кукушки», а роль Хелен Хант – просто шедевр. На таком уровне в Америке может играть только Сьюзен Сарандон.

– Теперь вопрос к Евтушенко-литератору: над чем работаете?

– Я заканчиваю роман под условным названием «Город Желтого Дьявола», про мою первую поездку в Америку и, кроме того, о моих приключениях в 1941 году, когда я еще был мальчишкой. Затем я сажусь писать продолжение романа «Не умирай прежде смерти», который получил премию Джованни Боккаччо в Италии за лучший иностранный роман. Я продолжаю писать стихи, но самая главная работа – восьмитомное собрание сочинений, оно должно быть закончено в этом году.

Кроме того, издательство «Вагриус» выпускает мою биографическую книгу, над которой я мучительно много работал. Там же, в серии «XX век», вышла книжка Вознесенского. Вообще, «Вагриус» – очень сильное издательство. Сейчас только я прочел новую книгу суперталантливого 35-летнего писателя Виктора Пелевина «Желтая стрела», выпущенную «Вагриусом». Мне нравились и предыдущие романы Пелевина: «Омон-Ра», «Чапаев и Пустота», последняя его книга тоже очень удачная. Пелевин совсем еще молодой для прозаика, с огромной перспективой, нечто среднее между Кафкой и Рэем Брэдбери. Должен сказать, что русская проза сегодня интереснее, чем поэзия.

– Как часто вы выступаете с чтением своих стихов в Нью-Йорке?

– В Нью-Йорке редко.

– Вас не приглашают?

– Что значит не приглашают? Я выступал с Куртом Мазуром, с оркестром. В Париж еду сейчас выступать. Вот выпустите журнал – приглашайте, организуйте встречу, я выступлю.

– Ловлю вас на слове.

– Пожалуйста. Исполать вам!

Евгений Евтушенко
Идут белые снеги…

Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

А любил я Россию
всею кровью, хребтом —
ее реки в разливе
и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.

Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

1965